



ДНИ В БИРМЕ

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

Джордж Оруэлл. Новые переводы

Джордж Оруэлл
Дни в Бирме

«ЭКСМО»

1934

Оруэлл Д.

Дни в Бирме / Д. Оруэлл — «Эксмо», 1934 — (Джордж Оруэлл.
Новые переводы)

ISBN 978-5-04-163423-0

Первый роман автора романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла! Основанный на его опыте работы в колониальной полиции Бирмы в 1920-е годы, "Дни в Бирме" вызвал горячие споры из-за резкого изображения колониального общества. Группа англичан, членов европейского клуба, едина в своем чувстве превосходства над бирманцами, но каждый из них предельно одинок и обильно заглушает тоску по родине чрезмерным употреблением виски. Джон Флори, лесоторговец, придерживается иных взглядов: он считает, что бирманцы и их культура самобытны и должны цениться как прекрасные и достойные вещи. Флори дополнительно подрывает веру в британское всемогущество своей дружбой с доктором Верасвами, потенциальным кандидатом на вступление в европейский клуб. А Верасвами, в свою очередь, находится под пристальным вниманием беспринципного местного судьи Ю По Кына, ради власти готового на многое... Внутренний конфликт Флори осложняется внезапным прибытием в Бирму молодой англичанки Элизабет. Найдет ли он в себе силы поступить по совести и быть счастливым с женщиной, которую любит?

ISBN 978-5-04-163423-0

© Оруэлл Д., 1934

© Эксмо, 1934

Содержание

1	5
2	11
3	21
4	28
5	34
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Джордж Оруэлл

Дни в Бирме

*В глубине лесов,
Под сению деревьев меланхолических¹*

Уильям Шекспир. Как вам это понравится

1

Ю По Кыин, окружной судья Чаутады, в Верхней Бирме², сидел у себя на веранде. Было только полдевятого, но воздух, по-апрельски душный, уже грозил долгим дневным зноем. Редкие вздохи ветерка, относительно прохладного, покачивали недавно политые орхидеи, свисавшие с карниза. Сквозь орхидеи виднелся пыльный изогнутый ствол пальмы, а за ним – сияющее ультрамариновое небо. В самом зените, так высоко, что больно было смотреть, кружили, раскинув крылья, стервятники.

Ю По Кыин не мигая, точно керамический истукан, янтарно-кариими глазами смотрел на палящее солнце. Непокрытая голова его была бритой, крупное лицо – желтым и почти гладким. Он разменял шестой десяток и до того растолстел, что уже несколько лет не вставал с кресла без посторонней помощи, однако был статен и даже красив в своей тучности; бирманцы не оплывают с годами, как белые, но равномерно наливаются, словно спелые фрукты. Одежда Ю По Кыина представляла собой типичную у бирманцев араканскую лонджи³ в зелено-фиолетовую клетку, из-под которой выглядывали его босые пухлые ступни с высоким подъемом и одинаковыми пальцами. Он жевал бетель из лакированной шкатулки на столе и думал о прожитой жизни.

Жизнь его сложилась блестяще. В самом раннем своем воспоминании, из восьмидесятых годов, Ю По Кыин, тогда еще голый карапуз, стоял и смотрел, как победным маршем входят в Мандалай британские солдаты. Он помнил, какой ужас испытывал, глядя на эти колонны здоровенных красномундирных и красномордых пожирателей коров с длинными винтовками за плечами, утрамбовывавших землю сапогами. Недолго поглазев на них, он дал стрекача. Своим детским умом он понял, что его соплеменники не чета этому племени великанов. И тогда же зародилось в нем честолюбивое стремление примкнуть к британцам, присосаться к ним пиявкой и сражаться на их стороне.

В семнадцать лет он попытался устроиться на госслужбу, но потерпел неудачу, поскольку был беден и не имел друзей, и следующие три года проработал в вонючих закоулках мандалайских базаров, ведя счета торговцев рисом и подворовывая. Но в двадцать лет ему улыбнулась удача – он шантажом добыл четыреста рупий, смог переехать в Рангун и купить себе место клерка на госслужбе. Должность была перспективная, хотя платили мало. В то время чиновничьи круги получали надежный доход, расхищая правительственные склады, и По Кыин (тогда он был просто По Кыном – почтительное Ю добавится к его имени позже) естественным путем примкнул к ним. Впрочем, он был слишком честолюбив, чтобы всю жизнь провести в клерках, промышляя такой мелочовкой. Однажды ему стало известно, что правительство, испытывая нехватку в рядовых чиновниках, намеревается набрать их из клерков. Об этом должны были

² В 1920-е годы – время действия романа – Верхняя Бирма представляла собой глухую провинцию Британской Индии.

³ Домашняя одежда бирманцев в виде юбки, которую мужчины запахивают спереди, а женщины – слева.

объявить только через неделю, но По Кыин умел вывести нужные сведения загодя. Он не упустил свой шанс и сдал всех подельников, пока они не подняли тревогу. Большинство из них попали в тюрьму, а По Кыина, в награду за честность, назначили помощником квартального инспектора. С тех пор карьера его неуклонно шла в гору. Теперь, в свои пятьдесят шесть, он был судьей округа и рассчитывал на дальнейшее повышение, пожалуй, вплоть до заместителя комиссара, что сделает его равным с англичанами и даже выше некоторых.

Его судейский метод был прост. Ни за какие коврижки не соглашался он вынести незаконное решение, понимая, что продажный судья рано или поздно попадется. Он предпочитал брать взятки с обеих сторон, что было гораздо надежней, и решать дело исключительно на законных основаниях. Этим он заслужил репутацию беспристрастного судьи. Помимо взяток с клиентов, Ю По Кыин собирал регулярную дань, своего рода частный налог, со всех подведомственных деревень. Если та или иная деревня артачилась, Ю По Кыин прибегал к карательным мерам – то к ним вторгалась шайка бандитов, то старейшины оказывались не в ладах с законом, то еще что-нибудь, – и вскоре недовольство возмещалось. Кроме того, он имел долю со всех крупных грабежей в его районе. Все это по большей части было, разумеется, известно едва ли не каждому, кроме официального начальства Ю По Кыина (британское начальство никогда бы не поверило, что его подчиненный нечист на руку), но попытки разоблачить его неизменно проваливались – его подкупленных сторонников было не счесть. Всякий раз, как его обвиняли, Ю По Кыин просто-напросто дискредитировал обвинителей через подставных свидетелей, после чего выдвигал встречные обвинения, тем самым укрепляя свое положение. Он был практически неуязвим, не только благодаря тонкому чутью в судебных делах, оберегавшему его от ошибок, но и в силу особой склонности к интригам, не дававшей ему пасть жертвой небрежности или невежества. Можно было сказать с полной определенностью, что его никогда не выведут на чистую воду, и успех будет сопутствовать ему до самой смерти, с пышными похоронами и наследством в сотни тысяч рупий.

И даже на том свете его ждало процветание. Согласно буддийской вере, творившие при жизни зло после смерти перевоплощаются в крысу, жабу или еще какое пресмыкающееся. Ю По Кыин, как добропорядочный буддист, намеревался избежать этой напасти. Преклонные годы он посвятит делам праведным, которые в итоге перевесят все прочее. Вероятнее всего, его праведность проявится в строительстве пагод. Четыре, пять, шесть, семь пагод – сколько скажут ламы – с каменной резьбой, золочеными куполами и колокольчиками, звенящими на ветру, воздавая хвалу небесам. И он вернется на землю в человеческом облике – причем мужчиной, ибо женщина недалеко ушла от крыс и жаб – или, еще лучше, величественным зверем вроде слона.

Все эти мысли пронеслись в уме Ю По Кыина чередой картинок. При всей его хитрости, мозг у него был варварским и работал только в практическом направлении; чистое созерцание было ему недоступно. Вот и теперь его мыслительная деятельность достигла своего предела. Положив упитанные культипки на подлокотники, он чуть повернулся и позвал визгливым голосом:

– Ба Тайк! Эй, Ба Тайк!

Из-за бисерной шторы, отделявшей веранду, показался слуга Ю По Кыина, Ба Тайк, рябой человек весьма жалкого вида. Он был осужден за воровство, и Ю По Кыин ничего ему не платил, поскольку одним своим словом мог упечь бедолагу в тюрьму. Ба Тайк, несмело приближаясь, так низко кланялся, что казалось, он пятится.

– Наисвятейший? – сказал он.

– Есть кто-нибудь ко мне, Ба Тайк?

Ба Тайк стал называть посетителей, разгибая пальцы:

– Там, ваша честь, староста Титпингьи принес подарки и двое деревенских с побоями, которых ваша честь будет судить, тоже принесли подарки. Ко⁴ Ба Сейн, старший клерк из комиссариата, желает вас видеть, потом констебль Али Шах и бандит один, не знаю, как звать. Наверно, не поделили золотые браслеты, те, что украли. А еще деревенская девчонка с младенцем.

– А ей чего? – сказал Ю По Кын.

– Говорит, младенец ваш, наисвятейший.

– А-а. Сколько староста принес?

Насколько был в курсе Ба Тайк, всего десять рупий и корзину манго.

– Скажи старосте, – велел Ю По Кын, – чтобы завтра же принес двадцать рупий, а не то ему и всей его деревне несдобровать. Других сейчас приму. Проси Ко Ба Сейна.

Ба Сейн не заставил себя ждать. Стройный и узкоплечий, он был на редкость высоким для бирманца, а необычайно гладкое лицо его отличалось цветом кофе бланманже. Ю По Кын считал его полезным винтиком. Приземленный и исполнительный, он был превосходным клерком, и мистер Макгрегор, заместитель комиссара, почти ничего не скрывал от него. Ю По Кын, пребывая в добром расположении духа после ревизии своих успехов, приветствовал Ба Сейна смешком и взмахом руки в сторону ларчика с бетелем.

– Ну, Ко Ба Сейн, как продвигается наше дело? Надеюсь, как сказал бы уважаемый мистер Макгрегор, – тут Ю По Кын перешел на английский, – *опуэделенный пвогуэсс налицо?*

Ба Сейн не улыбнулся этой остроте. Присев в кресло, прямой, как жердь, он ответил:

– Отлично, сэр. Наш экземпляр прибыл этим утром. Извольте взглянуть.

Он вынул двуязычную газету под названием «Бирманский патриот». Это было восьми-полосное издание, отпечатанное на скверной бумаге и сляпанное из новостей, надерганных в основном из столичной «Рангунской газеты» и сдобренных пафосной националистской риторикой. На последней полосе печать смазалась, так что разобрать ничего было нельзя, словно газета отмечала траур по самой себе. Статья, интересовавшая Ю По Кына, отличалась особым шрифтом. Она гласила:

В эти счастливые времена, когда нас, бедную черноту, ведет за собой могучая западная цивилизация с ее многообразными благами, такими как синематограф, пулеметы, сифилис и т. д., какой предмет может внушать большее воодушевление, нежели частная жизнь наших европейских благодетелей? Посему мы считаем, что нашим читателям будет интересно услышать кое-что о событиях в захолустной Чаутаде. А именно о мистере Макгрегоре, досточтимом заместителе комиссара названной области.

Мистер Макгрегор являет собой типичный пример Истинно Ингалейкского Джентльмена, коих в эти счастливые дни мы можем наблюдать во множестве. Он «человек семейный», как говорят дорогие наши братья-англичане. Очень даже человек семейный мистер Макгрегор. До того семейный, что за год жизни в Чаутаде нажил троих детей, а на прошлом месте службы, в Шуэмьо, произвел шестерых отпрысков. Надо думать, лишь по недосмотру мистера Макгрегора они остались без средств к существованию, а их матерям грозит голодная смерть и т. д. и т. п.

Подобный материал занимал целый столбец и при всей своей гнусности был самым приличным в газете. Ю По Кын внимательно прочитал статью, держа газету на вытянутой руке – он страдал дальновзоркостью – и щерясь от усердия, обнажая ровные мелкие зубы, кроваво-красные от бетеля.

– Издатель сядет за это в тюрьму на полгода, – сказал он наконец.

⁴ Приставка «Ко» означает уважение.

– Он не против. Говорит, только в тюрьме и можно спастись от кредиторов.

– Стало быть, ваш юный стажер, клерк Хла Пе, сам написал эту статью? Очень умный мальчик – весьма многообещающий! Никогда больше не говорите, что от правительственных школ нет толка. Хла Пе определенно сделает карьеру.

– Так вы считаете, сэр, этой статьи будет достаточно?

Ю По Кыин ответил не сразу. Для начала он натужно запыхтел, пытаясь встать с кресла. Ба Тайк был тут как тут. Он возник из-за бисерной шторы, и вдвоем с Ба Сейном они подхватили Ю По Кыина под мышки и подняли на ноги. Ю По Кыин постоял, распределяя вес пуза, словно грузчик, который принаравливается к корзине рыбы. И отослал Ба Тайка взмахом руки.

– Недостаточно, – сказал он, отвечая на вопрос Ба Сейна, – никак недостаточно. Предстоит еще потрудиться. Но начало хорошее. Слушайте.

Он подошел к перилам и выплюнул алый комок бетеля, а затем стал мерить веранду шажками, заложив руки за спину. Двигался он чуть вразвалку, переваливая необъятные бедра, и говорил на жаргоне госслужащих – причудливой смеси бирманских глаголов и английских оборотов:

– Давайте заново пройдемся по нашему делу. Мы намерены нанести совместный удар по доктору Верасвами, уполномоченному хирургу и тюремному суперинтенданту. Намерены очернить его, уничтожить его репутацию и в итоге разделаться с ним раз и навсегда. Это будет весьма тонкая операция.

– Да, сэр.

– Риска не будет, но действовать надо медленно. Мы замахнулись не на жалкого клерка или констебля. Мы замахнулись на высокого чиновника, а высокий чиновник, пусть даже он индеец, это вам не клерк. С клерком как? Легко: обвинение, пара дюжин свидетелей, увольнение и тюрьма. Но здесь так не годится. Тихо-тихо, тихой сапой. Без скандала и главное без официального вмешательства. Не должно быть никаких обвинений, на которые можно ответить, однако в течение трех месяцев я должен устроить так, чтобы каждый европеец в Чаутаде считал доктора негодяем. Что же ему вменить? Взятка не годится, доктор взяток не берет. Что еще?

– Мы, пожалуй, могли бы устроить бунт в тюрьме, – сказал Ба Сейн. – Отвечать будет доктор, он же суперинтендант.

– Нет, слишком опасно. Надзиратели станут палить из ружей без разбору – не хочу. Опять же, лишние расходы. Что ж, стало быть, остается его обесчестить – национализм, пропаганда мятежа. Мы должны убедить европейцев, что доктор придерживается мятежных, антибританских взглядов. Это будет страшнее взятки; туземный взяточник для них – дело обычное. Но заставь их усомниться хоть на миг в его верности – и с ним покончено.

– Доказать такое будет трудно, – возразил Ба Сейн. – Доктор очень лоялен к европейцам. Он сердится, если кто скажет против них. Они должны это знать, не думаете?

– Чушь, чушь, – спокойно сказал Ю По Кыин. – Европейцам не нужны доказательства. Если у кого черное лицо, подозрение и есть доказательство. Несколько подложных писем – и порядок. Это лишь вопрос упорства: обвинять, обвинять и обвинять – вот как надо с европейцами. Одна анонимка за другой, каждому европейцу. А потом, когда хорошенько подогреем их подозрительность, – Ю По Кыин вытащил короткую руку из-за спины и, шелкнув пальцами, добавил: – Начнем с этой статьи в «Бирманском патриоте». Европейцы будут в бешенстве, когда прочтут это. Ну, а вслед за тем нужно будет убедить их, что статью написал доктор.

– Это будет трудно, он ведь дружит с европейцами. Все они ходят к нему, когда заболеют. Он вылечил мистера Макгрегора от флатуленции в эту холодную пору. Кажется, они его считают очень хорошим доктором.

– Как мало вы знаете европейский разум, Ко Ба Сейн! Если европейцы ходят к Верасвами, то лишь потому, что он единственный доктор в Чаутаде. Никакой европеец не доверяет

черномазым. Нет, с подложными письмами нужно лишь набраться терпения. Скоро я устрою так, что у него не останется друзей.

– Есть такой мистер Порли, лесоторговец, – сказал Ба Сейн, имея в виду мистера Флори. – Он близкий друг доктора. Всякий раз, как бывает в Чаутаде, каждое утро заходит к нему домой. Два раза даже приглашал его на ужин.

– Что ж, на этот раз вы правы. Если Флори дружит с доктором, нам это может помешать. Индийцу не навредишь, когда у него друг-европеец. Это дает ему – они обожают это слово – престиж. Но Флори довольно быстро охладает к другу, как начнутся неприятности. Эти люди не питают лояльности к туземцу. К тому же мне известно, что Флори – трус. Я с ним разберусь. А за вами, Ко Ба Сейн, остается слежка за Макгрегором. Не писал ли он недавно комиссару – в смысле, по личному делу?

– Писал два дня назад, но, когда мы вскрыли письмо, не нашли там ничего важного.

– Ну что ж, мы дадим ему тему для писем. А едва он начнет подозревать доктора, придет время для другого дела, о котором мы говорили. И тогда мы – как там говорит Макгрегор? Ах, да: убьем двух зайцев одним выстрелом. Целую стаю зайцев – ха-ха!

Смех Ю По Кына представлял собой мерзкое бульканье, поднимавшееся из самого брюха, наподобие кашля; и все же смеялся он заразительно, как ребенок. Больше он ни слова не сказал о «другом деле», слишком секретном, чтобы обсуждать его на веранде. Ба Сейн, видя, что беседа подошла к концу, встал и отвесил поклон, точно складной метр.

– Не желает ваша честь еще чего-нибудь? – сказал он.

– Убедитесь, чтобы Макгрегор получил экземпляр «Бирманского патриота». А Хла Пе лучше скажите, чтобы он побыл дома с приступом дизентерии. Мне он понадобится для написания анонимок. Пока все.

– Я могу идти, сэр?

– Идите с богом, – несколько отвлеченно сказал Ю По Кын и тут же громко позвал Ба Тайка.

Он ни минуты не тратил попусту. С другими посетителями он разделался довольно быстро, а деревенскую девчонку отослал не солоно хлебавши – посмотрел ей в лицо и сказал, что знать не знает. Пора было завтракать. В животе проснулся жестокий голод, нападавший на него каждое утро ровно в это время. Он нетерпеливо крикнул:

– Ба Тайк! Эй, Ба Тайк! Кин Кин! Мой завтрак! Поскорей, умираю с голода.

На столе в гостиной, за шторой, уже стояло большое блюдо с рисом и дюжина тарелок с карри, сушеными креветками и ломтями зеленого манго. Ю По Кын проковылял к столу, уселся со стоном и набросился на еду. Позади стояла, прислуживая, его жена, Ма Кин. Это была худощавая смуглая женщина сорока лет и пяти футов роста, с лицом доброй обезьянки. Ю По Кын сосредоточенно жевал, не замечая ее. Придвинув миску к самому носу, он проворно закидывал в рот еду жирными пальцами, часто дыша. Он всегда ел быстро, страстно и обильно; это была не столько еда, как оргия чрева, приправленная карри. Наевшись, он откинулся на спинку, рыгнул раз-другой и велел Ма Кин подать ему зеленую бирманскую сигару. Английский табак Ю По Кын никогда не курил, заявляя, что он безвкусен.

Затем Ба Тайк помог ему облачиться в официальный наряд, и Ю По Кын постоял в гостиной перед длинным зеркалом, любуясь собой. Гостиная с деревянными стенами и двумя колоннами из тиковых стволов, подпиравшими стропила, была темной и неряшливой, как и все бирманские комнаты, хотя Ю По Кын украсил ее «на ингалецкий манер» лакированным сервантом и стульями, литографиями королевской семьи и огнетушителем. На полу лежали бамбуковые циновки, заляпанные соком лайма и бетеля.

В углу, на коврике, сидела Ма Кин и штопала инджи⁵. Ю По Кьин медленно повернулся перед зеркалом, пытаясь разглядеть спину. На нем была инджи из крахмального муслина и парчовая пасо⁶ из мандайского шелка, с шикарным оранжево-розовым переливом, а на голове гаун-баун⁷ из бледно-розового шелка. Изловчившись, он глянул за спину и увидел, как переливчатая пасо плотно обтягивает его необъятный зад. Он гордился своей тучностью, видя в массе плоти символ величия. Он, когда-то бывший безродным голодранцем, теперь был жирен, богат и внушал страх. Он наливался телами поверженных врагов; эта мысль показалась ему весьма поэтичной.

– Новую пасо достал по дешевке за двадцать две рупии, – сказал он. – Слышь, Кин Кин?

Ма Кин склонила голову над штопкой. Она была женщиной простой, старомодной, и европейские обычаи – в их числе сидение на стуле – были ей чужды еще больше, чем Ю По Кьину. Каждое утро она шла на базар, держа корзину на голове, как деревенская, а по вечерам молилась в саду на белый шпиль пагоды, возносившийся над городом. Уже двадцать с лишним лет ей были известны козни Ю По Кьина.

– Ко По Кьин, – сказала она, – ты много зла наделал в жизни.

Ю По Кьин отмахнулся от нее.

– Подумаешь, важность. Откуплюсь за все пагодами. Времени еще навалом.

Ма Кин снова склонилась над штопкой, выражая в привычной манере неодобрение.

– Но, Ко По Кьин, к чему все эти мухлежи и козни? Я слышала ваш с Ко Ба Сейном разговор на веранде. Вы замышляете что-то против доктора Верасвами. Зачем вы хотите зла индийскому доктору? Он добрый человек.

– Что ты в этом смыслишь, женщина? Этот доктор мне поперек дороги. Во-первых, взятки не берет, что никому не нравится. А кроме того... ну, кое-что понять у тебя просто мозгов не хватит.

– Ко По Кьин, ты стал богатым и властным, а что хорошего? Бедными мы были счастливее. Как сейчас помню, когда ты был простой надзиратель, и мы купили свой первый дом. Как мы гордились плетеной мебелью и твоей авторучкой с золотым пером! А когда к нам зашел молодой английский полисмен, уселся в лучшее кресло и выпил бутылку пива, за какую честь мы это считали! Счастье не в деньгах. Зачем тебе больше денег?

– Не мели ерунды, женщина! Занимайся штопкой и готовкой, а серьезные дела оставь тем, кто в них смыслит.

– Ну, не знаю. Я твоя жена и всегда тебе повиновалась. А все же о карме всегда надо помнить. Береги свою карму, Ко По Кьин! Купил бы, что ли, живой рыбы и выпустил в реку? Это карму очень чистит. А еще утром ламы приходили за рисом и сказали, что у них двое новых в монастыре голодают. Дал бы им чего-нибудь, Ко По Кьин? Я сама ничего не дала, о твоей карме пеклась.

Ю По Кьин оторвался от зеркала. Слова жены не оставили его равнодушным. Он никогда не упускал возможности почистить карму, если это ничего ему не стоило. Добрые дела в его понимании были вроде денежного вклада, неуклонно возрастающего. Каждая рыба, выпущенная в реку, каждое подаяние ламе приближали его к нирване. Эта мысль внушила в него уверенность. Он велел, чтобы корзину манго, которую принес деревенский староста, отнесли в монастырь.

Затем он вышел из дома, раскрыл желтый зонтик над головой и пошел по дороге, а за ним Ба Тайк с папкой бумаг. Ю По Кьин шел вразвалку, держа спину ровно, выпятив пузо. Розовая пасо сияла на солнце сахарной глазурью. Он направлялся в суд разбирать текущие дела.

⁵ Легкая куртка.

⁶ Парадная мужская юбка.

⁷ Парадный мужской головной убор, представляющий собой платок, накрученный на шапочку-основу.

2

Примерно в то же время, когда Ю По Кыин занялся утренним делами, «мистер Порли», лесоторговец и друг доктора Верасвами, направился из дома в клуб.

Флори был жгучим брюнетом с черными усиками, среднего роста и довольно крепкого сложения. Густая шевелюра спадала ему на лоб, а кожа его, от природы землистая, задубела на солнце. Он не растолстел и не облысел, и выглядел не старше своих тридцати пяти лет, однако лицо его, со впалыми щеками и припухшими глазами, имело, несмотря на загар, изможденный вид. Он, очевидно, не брился с утра. Одет он был по-обычному, в белую рубашку, саржевые шорты цвета хаки и чулки, на запястье висел бамбуковый стек, только вместо топи⁸ он носил потертую широкополую шляпу-терай, заломленную набок. За ним семенил черный кокер-спаниель по кличке Фло.

Впрочем, все это не особо отличало его от остальных. Первым, что всем бросалось в глаза, было страшное родимое пятно, протянувшееся кривым серпом по левой щеке, от края глаза до рта. Сизое пятно походило на кровоподтек, отчего возникало впечатление, что Флори как следует отделали. Он прекрасно сознавал это и, едва кого-нибудь заведя, начинал маневрировать, стараясь скрыть левую половину лица.

Дом Флори стоял на краю поля, вблизи джунглей. Сразу за воротами выгоревший, буро-зеленый майдан резко шел под уклон, и по нему были разбросаны полдюжины ослепительно-белых бунгало. Все зыбилось, дрожало в жарком воздухе. На середине склона, рядом с церквушкой, крытой жестью, располагалось английское кладбище, обнесенное белой стеной. А чуть дальше стоял Европейский клуб, и именно он – одноэтажный деревянный барак – являл собой центр города. В любом индийском городе Европейский клуб служил духовной цитаделью, подлинным средоточием британской власти, той нирваной, по которой тщетно томились туземные служащие и толстосумы. В случае Чаутады это было тем более верно, ибо здешний клуб гордился тем, что едва ли не один во всей Бирме не допускал в свои члены ни единого азиата. Позади клуба катила бурные охряные воды Иравади, алмазно сверкая на солнце; а за рекой простирались необъятные рисовые поля, ограниченные темной грядой холмов на горизонте.

Туземный город, вместе с судебной-карательной системой, лежал по правую руку, по большей части скрытый рощами фиговых деревьев. Из-за деревьев вздымался золотым копьём шпиль пагоды. Это был вполне типичный город для Верхней Бирмы, почти не претерпевший изменений со времен Марко Поло до 1910 года, и он мог продремать в Средневековье еще век, если бы сюда не дотянулась железная дорога. В 1910 году британское правительство удостоило Чаутаду статуса окружного центра и очага Прогресса, что следовало понимать как совокупность судебного комплекса с целой армией пузатых, однако же вечно голодных служащих больницы, школы и одной из тех вместительных тюрем, которые англичане понастроили повсюду от Гибралтара до Гонконга. Население Чаутады составляло порядка четырех тысяч, среди которых были пара сотен индийцев, несколько десятков китайцев и семеро европейцев. Кроме того, имелись два метиса, мистер Фрэнсис и мистер Сэмюэл, отпрыски двух миссионеров – американского баптиста и римского католика соответственно. Что касается достопримечательностей, их в городе не было, не считая одного индийского факира, который вот уже двадцать лет жил на дереве вблизи базара и каждое утро поднимал на веревке корзину с едой.

Флори зевнул, выходя из ворот. Его мучило похмелье, и на ярком свете у него заныла печень.

«Вот же чертова дыра!» – подумал он, шурясь и смотря вниз с холма.

⁸ Тропический пробковый шлем.

Он зашагал по раскаленной дороге, хлеща стеком пожухлую траву, и, поскольку никто, кроме собаки, не мог его услышать, запел на мотив псалма «Свят, свят, свят Ты, Единый, святостью великой»:

– Черт, черт, черт, чертовщиной до краев набитый.

Время близилось к девяти, и солнце с каждой минутой пекло все сильнее. Казалось, жара ритмично лупила по голове огромной подушкой. Флори подошел к воротам клуба, думая, зайти или проследовать дальше и заглянуть к доктору Верасвами. Затем он вспомнил, что сегодня «почтовый день», когда доставляют английские газеты, и пошел в клуб мимо высокой ограды теннисного корта, заросшей выюнком в розовато-лиловых звездах.

Дорожку окаймляли английские цветы – флоксы и шпорники, шток-розы и петунии – еще не спаленные солнцем, разросшиеся до немыслимых размеров. Петунии вымахали почти с дерево. От лужайки ничего не осталось – всю ее поглотила могучая местная флора: огненные деревья с раскидистыми кронами кроваво-красных соцветий, плюмерии, облепленные кремовыми цветами, лиловые бугенвиллеи, алые гибискусы и коралловые китайские розы, изжелта-зеленые кротоны и тамаринд с перистой листвой. Такое буйство красок под ярким солнцем резало глаза. В этих цветочных джунглях копошился полуголый малиец с лейкой, напоминая большую птицу, пьющую нектар.

На ступенях клуба стоял, засунув руки в карманы шортов и покачиваясь взад-вперед, русский англичанин с колючими усами, широко расставленными светло-серыми глазами и донельзя тощими икрами. Это был мистер Вестфилд, суперинтендант окружной полиции. Он маялся от скуки и топорщил верхнюю губу, щекоча себе усами нос. При виде Флори он чуть склонил голову набок. Выражался он по-армейски кратко, обрубая все лишнее. То и дело острил, хотя тон его был меланхоличным.

– Здоров, дружище Флори. Чертовски поганое утречко, а?

– Полагаю, другого ждать в эту пору не стоит, – сказал Флори, повернувшись чуть в профиль, чтобы скрыть свое пятно.

– Да уж, епта. Еще пара таких месяцев. Прошлый год до самого июня без дождя. Только глянь на это чертово небо – ни облачка. Это же, епта, синий таз эмалированный. Господи! Вот бы сейчас по Пикадилли, ага?

– Пришли английские газеты?

– Да. Старый добрый «Панч», «Мир спорта» и *Vie Parisienne*⁹. Почитаешь, так и рвет на родину, а? Идем, выпьем, пока весь лед не растаял. Старина Лэкерстин, знай себе, заливает за воротник. Уже под мухой.

Они вошли, и Вестфилд мрачно произнес:

– Веди, Макдуф¹⁰.

В клубе, обшитом тиковыми досками, пахнувшими битумной пропиткой, было всего четыре комнаты, а именно: сиротливая «читальня» с пятью сотнями заплесневевших романов; бильярдная, со старым, замызганным бильярдом, стоявшим большую часть года без дела из-за полчищ летучих жуков, круживших под лампами и сыпавшихся на сукно; карточная комната и, наконец, *салон* с широкой верандой, смотревшей на реку, но сейчас занавешенной зелеными бамбуковыми циновками. Салон с кокосовыми половиками, плетеными стульями и столами, усыпанными глянцевыми журналами, имел безотрадный вид. Из декора на стенах висели несколько «восточных» картинок и пыльных оленьих рогов. Свисавшее с потолка опахало еле колыхалось над столом, гоняя пыль в душном воздухе.

В комнате были трое мужчин. Один, с багровым лицом, сидел, навалившись на стол, и стонал, обхватив голову руками. Это был мистер Лэкерстин, одутловатый здоровяк лет сорока,

⁹ Парижская жизнь (*фр.*).

¹⁰ Реплика из «Макбета» У. Шекспира.

представитель лесоторговой фирмы. Он крепко выпил прошлым вечером и жестоко за это расплачивался. У доски для объявлений стоял Эллис, представитель еще одной компании, и напряженно вчитывался во что-то. Это был маленький вертлявый человечек с бледным, угловатым лицом и жестким ежиком. В одном из шезлонгов растянулся Максвелл, военный инспектор лесных угодий; он читал газету «Просторы», из-под которой торчали его мосластые ноги и плотные волосатые предплечья.

– Глянь на шального старпера, – сказал Вестфилд и потрепал за плечи мистера Лэкерстина. – В назидание молодежи, а? Боже упаси от такой напасти и всякое такое. Мотайте на ус, какими вы будете в сорок.

Мистер Лэкерстин издал стон, в котором можно было разобрать слово «бренди».

– Бедняга, – сказал Вестфилд, – заядлый мученик бухла ради, ага? Глянь, сочтись из всех пор. Напоминает старого полковника, который спал без сетки от moskitov. Его слугу спросили, как так, а он им: «Ночью хозяин так пьян, что не чувствует moskitov, а утром moskity так пьяны, что не чувствуют хозяина». Глянь на него – бухал полночи, и еще подавай. А к нему племянница, на выданье, в гости едет, так-то. Нынче вечером будет, верно, Лэкерстин?

– Да оставь ты эту пьянь, – раздраженно бросил Эллис говорком кокни, не оборачиваясь.

– Нах-х-х племянницу! – простонал мистер Лэкерстин. – Подайте бренди, бога ради.

– Вот повезло девице, а? Что ни день, видеть дядю под столом. Эй, буфетчик! Неси-ка бренди для мистера Лэкерстина!

Буфетчик, крепкий смуглый дравид с прозрачно-желтыми, как у собаки, глазами принес бренди на медном подносе. Флори и Вестфилд заказали джину. Мистер Лэкерстин приложился несколько раз к бренди и откинулся на спинку, застонав уже не так отчаянно. У него было мясистое, открытое лицо, с усами щеточкой. И сам он был человек открытый и простой, не имевший никаких других стремлений, кроме как «гульнуть». Жена держала его в узде единственным возможным способом – не выпускала из виду больше, чем на час-другой. Через год после женитьбы она первый и последний раз оставила его на две недели, а вернувшись на день раньше срока, застала в обнимку с двумя голыми туземками и с третьей, выливавшей ему в рот остатки виски из бутылки. С тех пор она его караулила, по словам мистера Лэкерстина, «как кошка у мышиной, млять, норки». И все же он нет-нет да умудрялся «гульнуть», хотя, как правило, наспех.

– Иисусе Христе, что с моей головой с утра, – сказал он. – Позови еще буфетчика, Вестфилд. Нужно догнаться бренди, пока супруга не нагрязнула. Говорит, урежет мне бухло до четырех стопок в день, как племянница приедет, – и добавил мрачно: – Изведи их бог обеих!

– Харе вам всем дурака валять, – сказал Эллис злобно, – слушайте сюда.

Он выражался в чудаковатой насмешливой манере, почти всякий раз задевая кого-то, и намеренно нажимал на свое просторечие, для пущей язвительности.

– Видали, чо нам предписал старый Макгрегор? Всех решил осчастливить. Максвелл, очнись и слушай!

Максвелл выглянул из-за «Просторов». Это был цветущий молодой блондин лет двадцати пяти (очень молодой для занимаемой им должности), походивший своими тяжелыми членами и густыми белесыми ресницами на ломового жеребца. Эллис со злобным проворством сорвал с доски листок и стал читать вслух. Автором листка был Макгрегор, совмещавший должность представителя комиссара и председателя клуба.

– Только послушайте: «Ввиду того, что в этом клубе не состоит ни один азиат, как и того, что сейчас стало нормой давать официальным светским лицам, будь то туземцы или европейцы, членство в большинстве Европейских клубов, поступило предложение рассмотреть вопрос принятия этой практики в Чаутаде. Данное предложение будет открыто для обсуждения на следующем общем собрании. С одной стороны можно указать...» Ну, в общем, дальше можно не читать. Он даже записки не напишет без приступа словесного поноса. Короче, суть

в чем: он просит нас поступиться всеми нашими принципами и принять в этот клуб какого-нибудь уважаемого негритосика. Хотя бы *уважаемого* доктора Верасвами. Я его зову доктор Веник-сранный. Вот уж *уважил бы*, как по-вашему? Будут за картами пузатые ниггеры вам в лицо чесноком дышать. Боже, подумать только! Нам нужно сплотиться и задавить это в зародыше. Что скажешь, Вестфилд? Флори?

Вестфилд философски пожал шуплыми плечами, уселся за стол и закурил черную вонючую бирманскую чируту¹¹.

– Полагаю, придется с этим смириться, – сказал он. – Туземные ублюдки проникают теперь во все клубы. Даже в Пегу¹², мне сказали. Эта страна не стоит на месте, сам знаешь. Мы, наверно, последний в Бирме клуб, какой еще держится.

– Так и есть, – сказал Эллис. – И, что главное, мы, черт возьми, не собираемся сдаваться. Сдохнуть мне в канаве, если сюда ступит ниггер.

Эллис достал огрызок карандаша и со свирепым выражением лица, каким иные сопровождают свои самые пустячные действия, снова пришил листок к доске и аккуратно вывел рядом с подписью мистера Макгрегора: «Т. Ж.».

– Вот, что я думаю об этом. Так ему и скажу, как придет. А что *ты* скажешь, Флори?

Флори все это время хранил молчание. От природы он отнюдь не был молчуном, но в беседах клуба участвовал редко. Он сидел за столом, читая статью Г. К. Честертона в «Лондонских новостях», и чесал за ухом Фло. Эллис же был из тех, кто вечно норовит убедить других в собственной правоте. Он повторил свой вопрос, Флори поднял взгляд от газеты, и глаза их встретились. Тут же кожа на переносице Эллиса побледнела, предвещая приступ гнева. Без всякой преамбулы он разразился шквалом ругани, что могло бы ошеломить остальных, если бы они не слышали подобного каждое утро.

– Бог мой, я-то думал, в ситуации, когда стоит вопрос, чтобы не пустить этих вонючих черных свиней в единственное место, где можно со своими отдохнуть, у тебя хватит духу меня поддержать. Пусть даже этот грязный пузатый докторишко, педик черномазый – твой *другок*. Мне *плевать*, если тебе охота якшаться с распоследней мразью. Если нравится ходить в гости к Верасвами и пить виски со всеми его негритосами, валий. За пределами клуба твори что хочешь. Но, бога ради, совсем другое дело, когда речь идет о том, чтобы пустить ниггеров сюда. Надо думать, ты был бы не прочь принять в клуб этого Верасвами, а? Чтобы он встречал в наш разговор и лапал всех своими потными ручонками, и дышал нам в лицо чесноком. Боже правый, да я его пинком под зад вышибу, пусть только сунет на порог свою черную морду. Пузатый, грязный... и т. д. и т. п.

Так продолжалось несколько минут. Полнейшая искренность говорившего вызвала до странности сильное впечатление. Эллис действительно ненавидел азиатов – ненавидел отчаянно, гадливо и неумно, как само зло, саму грязь. Живя и работая, как положено представителю лесоторговой фирмы, в постоянном контакте с бирманцами, он так и не привык спокойно смотреть на темнокожих. Любой намек на дружелюбие в отношении туземца казался ему ужасным извращением. Он был образованным человеком и ценным сотрудником своей фирмы, однако из числа тех англичан – числа немалого, к сожалению, – которых никогда не следовало пускать на Восток.

Флори сидел, не смея поднять взгляд на Эллиса, и гладил Фло, положившую голову ему на колени. Он и так-то с трудом смотрел людям в лицо из-за своего родимого пятна. Когда же он заговорил, то заметил, что голос его, как нарочно, дрожит; хорошо еще, лицо не дергалось, что иногда случалось.

¹¹ Манильская сигара с обрезанными концами.

¹² Город в Нижней Бирме, административный центр.

– Остынь, – сказал он наконец хмуро и довольно вяло. – Остынь. Зря разоряешься. Я никогда не предлагал принять в клуб туземца.

– Правда, что ли? Но мы прекрасно, млять, знаем, что ты был бы рад. Чего ж тогда ты ходишь каждое утро к этому задрипанному индюку, а? Сидишь с ним за столом, как с белым, и пьешь из стаканов, которых касались его слюнявые губы – тьфу, мерзость.

– Присядь, старик, присядь, – сказал Вестфилд. – Забудь. Лучше выпей. Не стоит ссориться из-за этого. И так жара.

– Ей-богу, ребята, – сказал Эллис уже чуть спокойнее, прохаживаясь по комнате, – ей-богу, я вас не понимаю. Просто не понимаю. Этому старому дурню Макгрегору втемяшилось принять к нам в клуб нигтера, а вы все сидите и ни гу-гу. Боже правый, что мы вообще тогда делаем в этой стране? Если мы не собираемся здесь править, какого черта не уберемся отсюда? Мы же, вроде как, должны управлять этими свиньями погаными, испокон веку рабами, а вместо того, чтобы править ими единственным понятным для них способом, мы стараемся относиться к ним, как к равным. А вам, ублюдкам тупым, как будто того и надо. Вот Флори, завел дружбу, неразлейвода, с черным индюком, который себя доктором считает только потому, что отучился пару лет в индийском, скажите пожалуйста, университете. И ты, Вестфилд, от гордости лопаешься за своих продажных полицейских шавок. И Максвелл бегаёт за туземными шлюшками. Да, Максвелл, бегаешь; я слыхал о твоих похождениях в Мандалае с одной вонючей сучкой по имени Молли Перейра. Небось женился бы на ней, если бы сюда не перевели? Вам всем, похоже, *нравятся* эти грязные зверьки. Господи, я не знаю, что с нами такое. Право слово, не знаю.

– Давай, выпей еще, – сказал Вестфилд. – Эй, буфетчик! Пивка нам, пока лед есть, а? Пива, буфетчик!

Буфетчик принес несколько бутылок «Мюнхенского». Эллис сел за стол с остальными и стал перекачивать в ладошках прохладную бутылку. Лоб у него покрылся испариной. Он все еще дулся, хотя гнев улегся. Он вечно был чем-нибудь или кем-нибудь недоволен, но вспышки гнева быстро проходили, и он никогда не извинялся. Перебранки были неотъемлемой частью жизни клуба. Мистеру Лэкерстину полегчало, и он рассматривал иллюстрации в *La Vie Parisienne*. Шел уже десятый час, и в комнате, пропитанной едким дымом чируты Вестфилда, была парилка. Рубашки у всех взмокли первым потом нового дня и прилипли к спине. Невидимого чокру¹³, который должен был раскачивать опахало, похоже, сморил сон.

– Буфетчик! – злобно выкрикнул Эллис и велел ему, когда тот появился: – Пойди, разбуди драного чокру!

– Да, хозяин.

– Постой!

– Да, хозяин.

– Сколько у нас еще льда?

– Фунтов двадцать, хозяин. Думаю, хватит только на сегодня. Теперь, сдаётся мне, будет трудно держать лед холодным.

– Не разговаривай так, черт тебя дерит: «Теперь, сдаётся мне, будет трудно»! Ты словарь, что ли, съел? «Прощения, хозяин, лед теперь держать не можно», – вот как ты должен говорить. Нам придется вышвырнуть этого малого, если он шибко выучится по-английски. Не терплю слуг-грамотеев. Слышишь, буфетчик?

– Да, хозяин, – сказал буфетчик и удалился.

– Боже! До понедельника безо льда, – сказал Вестфилд. – Собираешься назад в джунгли, Флори?

– Да. Мне уже пора. Я зашел только за английской почтой.

¹³ Мальчик (*бирм.*).

– Думаю, тоже отчаю. Выбью себе командировку. Мочи нет торчать в чертовой конторе в это время года. Сиди там под проклятым опахалом, строчи хреновину всякую. Бумажная волокита. Боже, хоть бы снова война!

– Я уеду послезавтра, – сказал Эллис. – В воскресенье, кажись, чертов падре будет служить службу? Я, по-любому, участвовать в этом не собираюсь. Колени, млять, отбивать.

– В следующее воскресенье, – сказал Вестфилд. – Я обещал быть. Как и Макгрегор. Не позавидуешь падре, бедному черту, должен сказать. Добирается к нам только раз в полтора месяца. По такому случаю прихожане могли бы уважить.

– Ексель-моксель! Я бы проблеял псалмы из уважения к падре, но не выношу, как эти туземные христиане паршивые лезут в нашу церковь. Шайка мадрасских слуг и каренских учителей. А еще двое этих желтопузых, Фрэнсис и Сэмюэл – тоже себя христианами считают. Прошлый раз, как падре приезжал, набрались наглости пролезть в передние ряды, возле белых. Кто-то должен обратиться с этим к падре. Вот же мы дурачье – дали волю всяким там миссионерам! Могли бы с таким же успехом учить их мести базар. «Прощения, сэр, моя тоже христианин, как хозяин». Обнаглели, черти.

– А что вы скажете об этих ножках? – обратился ко всем Лэкерстин, протягивая *La Vie Parisienne*. – Ты французский знаешь, Флори – что там снизу написано? Господи, вспоминаю, как я был в Париже, в первый отпуск, еще до женитьбы. Господи, вот бы снова туда!

– А слышали «Девуцу из города Уокинг»? – сказал Максвелл.

Он был довольно тихим юнцом, но, как и все юнцы, обожал пошлые стишки. Он поведал биографию юной девушки из Уокинга, и все засмеялись. Вестфилд в ответ рассказал о юной девушке из Лидса, которой случилось влюбиться, а Флори выдал стишок о юном викарии из Суиндона, имевшем смекалку завидную. Снова все засмеялись. Даже Эллис оттаял и рассказал несколько стишков; его юмор отличался остроумием и редкой скабрёзностью. Несмотря на жару, всем полегчало, обстановка разрядилась. Допив пиво, они собрались заказать что-нибудь еще, но тут на крыльце послышались шаги. И раскатистый голос, от которого завибрировал дощатый пол, весело произнес:

– Да, совершенно презабавный. Я включил его в одну из этих моих статей для «Блэквуда»¹⁴, ну, знаете. Помню, когда квартировался в Проме, был еще такой весьма... э-э... занимательный случай, который...

Наконец в клуб пожаловал мистер Макгрегор. Мистер Лэкерстин воскликнул:

– Черт! Жена пришла.

С этими словами он отодвинул от себя пустой бокал как можно дальше. В салон вошли мистер Макгрегор и миссис Лэкерстин.

Мистер Макгрегор был крупным, дородным мужчиной, хорошо за сорок, с физиономией доброго мопса в золотых очках и в чистом шелковом костюме, отмеченном полукружьями пота под мышками. У него была забавная привычка выставлять голову из массивных плеч, точно черепаха – бирманцы его так и прозвали, «наш черепах». Приветствовав остальных шутилым взмахом руки, он приблизился, сияя улыбкой, к доске объявлений, поигрывая за спиной тростью, точно школьный учитель. Его добродушие было вполне искренним, и все же он так нарочито его демонстрировал, стараясь быть своим в доску, без всяких там регалий, что никто не мог расслабиться в его присутствии. Свою манеру общения он, очевидно, перенял у некоего остроуслова учителя или священника, оказавшего на него впечатление в юности. Всякое необычное слово, любую цитату или поговорку он произносил как шутку, предваряя ее характерным мычанием («э-э» или «хм-м»), чтобы все знали, когда смеяться.

Миссис Лэкерстин, женщина лет тридцати пяти, отличалась обтекаемо-удлиненной миловидностью журнального фасона. В ее томном голосе слышалась досада. Все встали при ее

¹⁴ Литературно-публицистический журнал (1817–1980) крайне консервативного толка.

появлении, и миссис Лэкерстин с изможденным видом опустилась в лучшее кресло, под самым опахалом, обмахиваясь своей тонкой ручкой, похожей на лапку тритона.

– Божечки, какая же жара! Мистер Макгрегор заехал за мной и подвез на своем авто. *Так* любезно с его стороны. Том, этот паршивый рикша снова притворяется больным. Seriously, я думаю, тебе надо задать ему хорошую взбучку и преподать урок. Это просто кошмар – каждый день ходить по такой жаре.

Миссис Лэкерстин, которой было невмогуту пройти четверть мили от дома до клуба, выписала рикшу из Рангуна. Кроме воловьих упряжек и машины мистера Макгрегора, это было единственное транспортное средство в Чаутаде, едва ли насчитывавшей десять миль по округности. Будучи с мужем в джунглях, миссис Лэкерстин ни на шаг не отходила от него и стойко переносила такие напасти, как протекающая палатка, москиты и консервы; однако в штаб-квартире капризам ее не было предела.

– Seriously, я думаю, слуги обленились дальше некуда, – сказала она и вздохнула. – Вы согласны, мистер Макгрегор? У нас теперь как будто не осталось никакого *влияния* на туземцев, со всеми этими кошмарными реформами и газетами, из которых они набираются хамства. В каком-то смысле они становятся почти ничем не лучше наших низших классов.

– Ну, не думаю, что все настолько плохо. И все же, боюсь, не остается сомнений, что дух демократии дополз даже сюда.

– А еще совсем недавно, перед самой войной, они были такими *милыми* и почтительными! Как они кланялись по-восточному, когда встречались на дороге – просто прелесть. Я помню, мы платили нашему буфетчику всего двенадцать рупий в месяц, и ведь он любил нас, как верный пес. А теперь подавай им сорок рупий, пятьдесят, и я для себя сделала вывод, что единственный способ урезонить слуг – это платить им как можно позже.

– Слуга старого типа исчезает, – согласился мистер Макгрегор. – В мою молодость, когда буфетчик дерзил, его посылали в участок с запиской: «Подателю сего всыпьте пятнадцать плетей». Что ж, *eheu fugaces!*¹⁵ Те дни, боюсь, ушли безвозвратно.

– Эх, вот здесь вы правы, – сказал Вестфилд в своей мрачной манере. – Эта страна перестала быть пригодной для жизни. Если хотите мое мнение, Британской Индии настал конец. Утраченный доминион и все такое. Пора выметаться отсюда.

На это все дружно вздохнули – даже Флори, печально известный своими большевистскими взглядами, даже молодой Максвелл, не проживший здесь и трех лет. Любому англоиндийцу было ясно, что Индия катится к черту, и отрицать это было бессмысленно, поскольку Индия, как и Панч, никогда не была тем, чем была.

Между тем Эллис снял с доски несносный листок и протянул Макгрегору, высказавшись в своей откровенной манере:

– Вот, Макгрегор, прочитали мы твою записку и думаем, что идея избрать в клуб туземца – это полная... – он хотел было сказать «полная херня», но вовремя вспомнил о миссис Лэкерстин, – полный вздор. Этот клуб, как-никак, такое место, куда мы приходим отдохнуть, и мы не хотим, чтобы сюда совались туземцы. Нам хотелось бы думать, что есть еще такое место, где мы от них свободны. Остальные абсолютно со мной согласны.

Он оглядел остальных.

– Верно, верно! – решительно сказал мистер Лэкерстин.

Он понял, что от жены не скроешь похмелье, и надеялся хоть как-то заслужить ее расположение. Мистер Макгрегор улыбнулся и взял записку. Увидев «Т. Ж.» перед своим именем, он подумал, что Эллис совсем распоясался, но решил перевести все в шутку. Быть славным малым в клубе стоило ему не меньших усилий, чем держаться с достоинством на службе.

¹⁵ Время летит (*лат.*). Прим. ред.

– Я полагаю, – сказал он, – что наш друг Эллис не одобряет общества... э-э... своего арийского собрата?

– Не одобряю, – сказал Эллис ехидно. – Как и монгольского собрата. Если коротко, не люблю я ниггеров.

Мистер Макгрегор напрягся при слове «ниггер», порицавшемся в Индии. Сам он не испытывал неприязни к азиатам; более того, он им всячески симпатизировал. Ему претила мысль дать им свободу, однако он считал их совершенно очаровательными. Его всегда задевало, когда другие походя их оскорбляли.

– Справедливо ли, – сказал он строго, – называть этих людей ниггерами – что вызывает их естественное возмущение, – когда они очевидно принадлежат к иным группам? Бирманцы – монголоиды, индийцы – арийцы или дравиды, и все они вполне отчетливо...

– Ой, харе! – сказал Эллис, не испытывавший ни малейшего почтения к рангу мистера Макгрегора. – Ниггеры, арийцы – назовите, как хотите. Что я говорю, это что мы не хотим видеть в этом клубе черномазых. Если вынесете это на голосование, то увидите, что мы единогласно против. Разве только Флори, – добавил он, – предложит своего *дражайшего* Верасвами.

– Верно, верно! – повторил мистер Лэкерстин. – От меня черный шар¹⁶ засчитайте, против всех этих.

Мистер Макгрегор недовольно поджал губы. Он оказался в неловком положении, поскольку идея принять в клуб туземца принадлежала не ему, а комиссару. Однако оправдаться он не любил, поэтому произнес миролюбиво:

– Не отложить ли нам это обсуждение до следующего общего собрания? Чтобы тем временем хорошенько все взвесить, как взрослые люди. А сейчас, – добавил он, подходя к столу, – кто разделит со мной... э-э... освежающее возлияние?

Позвали буфетчика, заказали «освежающих напитков». Жара усилилась, и все изнывали от жажды. Мистер Лэкерстин готов был заказать выпивку, но передумал, поймав взгляд жены, и сказал понуро:

– Я пас.

Он сидел, сложив руки на коленях и скорбно смотрел, как миссис Лэкерстин жадно глотает лимонад с джином. Мистер Макгрегор, хотя и подписал счет за выпивку, пил простой лимонад. Он единственный из всех европейцев в Чаутаде придерживался правила не пить до захода солнца.

– Это все, конечно, хорошо, – проворчал Эллис, поставив локти на стол и крутя в руках стакан; перебранка с Макгрегором снова раззадорила его. – Это все, конечно, хорошо, но я при своем мнении. Никаких туземцев в этом клубе! Вот так, уступая пядь за пядью, мы и погубили империю. Эту страну разъедает малодушие, потому что мы с ними слишком цацкаемся. Единственно возможная политика с ними – это относиться к ним, как к грязи, они другого не заслуживают. Сейчас критический момент, и нам нужно всеми средствами поддерживать престиж. Встать плечом к плечу и сказать: «*Мы – хозяйева, а вы – шваль*», – Эллис вжал в стол худосочный палец, словно давя козявку, – вы – шваль, и знайте свое место»!

– Безнадежно, старина, – сказал Вестфилд. – Совершенно безнадежно. Что ты им сделаешь, когда крючкотворы руки вяжут? Туземная шваль лучше нас знает законы. В лицо тебе нахамят, а попробуй ударь – накачают заявление. Ничего не сделаешь, когда нет уверенности в своих силах. А какая тут уверенность, когда у них кишка тонка для открытой схватки?

– Наш бурра-сахиб¹⁷ в Мандалае всегда говорил, – вставила миссис Лэкерстин, – что мы в конце концов просто *уйдем* из Индии. Молодежь больше не поедет сюда, чтобы работать всю жизнь, снося оскорбления и неблагодарность. Мы просто *уйдем*. Когда туземцы придут к нам

¹⁶ Голос против при голосовании. *Прим. ред.*

¹⁷ Большой человек; имеется в виду представитель европейской власти (*хинд.*).

и будут умолять остаться, мы им скажем: «Нет, у вас был шанс, вы его упустили. Раз так, мы от вас уйдем, управляйте собой сами». Вот тогда мы их действительно проучим!

– Это все закон и порядок привел нас к такому, – сказал Вестфилд мрачно.

Ему не давала покоя тема крушения Британской Индии из-за чрезмерной законности. Он считал, что ничто уже, кроме полномасштабного мятежа с последующим военным положением, не могло спасти империю от распада.

– Все это бумагомарание и крючкотворство. Конторские индюки – вот кто теперь действительно управляет этой страной. Наша песня спета. Лучшее, что нам остается, это прикрыть лавочку, и пускай варятся в собственном соку.

– Не соглашусь, никак не соглашусь, – сказал Эллис. – Мы бы за месяц навели порядок, стоит только захотеть. Лишь бы храбрости набраться. Вон, в Амритсаре¹⁸, ишь, как сразу при-
смирели. Дайер знал, как с ними надо. Бедняга Дайер! Грязная была работа. Этим трусам в Англии придется ответить.

Остальные издали вздох сожаления, подобный тому, что издают католики при упоминании Марии Кровавой¹⁹. Даже мистер Макгрегор, которому претило кровопролитие и военное положение, покачал головой.

– Эх, бедняга! Пал жертвой политической игры. Что ж, возможно, когда-нибудь столичные политики поймут, как были не правы.

– Мой старый начальник на этот счет байку рассказывал, – сказал Вестфилд. – Служил в туземном полку один старый хавилдар²⁰, и его спросили, что будет, если британцы уйдут из Индии. Старикан и говорит...

Флори отодвинул стул и встал. Он больше был не в состоянии, не мог – нет, не желал выносить этого! Он должен немедленно уйти отсюда, пока не тронулся умом и не начал крушить мебель и бросаться бутылками в картинки на стенах. Тупая, безмозглая алкашня! Как такое может быть, что они неделю за неделей, год за годом мусолят одно и то же, повторяют слово в слово те же злобные бредни, словно пародируя третьесортный рассказик из «Блэквуда»? Неужели никто из них *никогда* не скажет ничего нового? Что ж за место такое, что за люди! Что за цивилизацию мы породили – эту безбожную цивилизацию, замешанную на виски, «Блэквуде» и «восточных» картинках! Господи помилуй, ибо все мы к этому причастны.

Флори ничего такого не сказал и мучительно старался сохранять нейтральное выражение лица. Он стоял возле стула, чуть в стороне от остальных, с неловкой улыбкой человека, привыкшего чувствовать себя белой вороной.

– Боюсь, мне нужно отчаливать, – сказал он. – Нужно, к сожалению, кое-что успеть до завтрака.

– Останься, пропусти еще стаканчик, – сказал Вестфилд. – Утро только распустилось. Выпей джину. Для аппетита.

– Нет, спасибо, мне пора. Идем, Фло. До свидания, миссис Лэкерстин. Всем до свидания.

– Тоже мне, Букер Вашингтон²¹, дружок ниггеров, – сказал Эллис, едва удалился Флори; и каждый подумал, что точно так же он чихвостит их за глаза. – Наверно, пошел к Венику-сраному. Или свалил поскорей, чтобы за выпивку не платить.

– Ну, он парень неплохой, – сказал Вестфилд. – Так только, большевизмом увлекается. Не думаю, что он это всерьез.

¹⁸ 13 апреля 1919 г. колониальные войска Британской империи расстреляли мирную демонстрацию в Амритсаре под предводительством М. Ганди.

¹⁹ Мария I Тюдор (1516–1558) – английская королева, восстановившая на время своего правления (1553–1558) католицизм и жестоко преследовавшая сторонников Реформации.

²⁰ Сержант (*бирм.*).

²¹ Букер Тальяферро Вашингтон (1856–1915) – один из выдающихся просветителей и борцов за права афроамериканцев, оратор, политик, писатель.

– Да, парень он славный, ничего не скажу, – сказал мистер Макгрегор.

Надо заметить, что каждый европеец в Индии в силу своей национальности, а точнее цвета кожи, считался славным парнем, пока не натворит чего-нибудь совсем уж несусветного. Быть славным парнем – почетное звание.

– Как по мне, так *слишком уж* большевиком несет, – не унимался Эллис. – Не выношу таких, кто корешится с туземцами. Не удивлюсь, если он сам дегтем смазан. Вон, какая метка на лице. Пегая морда. И вообще похож на желтопузого – чернявый, и кожа как лимон.

Возникла бессвязная перепалка насчет Флори, но вскоре утихла, поскольку мистер Макгрегор этого не одобрял. Европейцы посидели в клубе еще какое-то время и снова освежились. Мистер Макгрегор рассказал свою байку о Проме, которая почти всегда была к месту. А затем разговор сам собой свернул на старую, животрепещущую тему – наглость туземцев, малодушие правительства и канувшие в Лету времена, когда Британская Индия *действительно* была британской, и подателю сего «всыпьте пятнадцать плетей». Редкий день обходился без этого, учитывая одержимость Эллиса. Впрочем, неудовольствие европейцев было вполне объяснимо. Когда живешь и работаешь среди азиатов, нужно быть святым, чтобы не озлобиться. Все присутствовавшие, особенно официальные лица, знали, что значит сносить насмешки и оскорбления. Чуть ли не каждый день, когда Вестфилд, мистер Макгрегор или даже Максвелл шли по улице, школьники, с их юными, желтыми лицами – гладкими, точно золотые монетки, источавшими сводящее с ума презрение, столь присущее монголоидам, – глумились им вслед, а, бывало, и преследовали, гнусно хихикая. Англичанину в Индии жилось несладко. Убожество солдатских лагерей, душные конторы, затхлые, пропахшие битумом станционные гостиницы – все это, пожалуй, давало им право на некоторое недовольство.

Время близилось к десяти, и жара была удушающая. У всех на лицах (а у мужчин и на предплечьях) блестел пот. На спине шелкового пиджака мистера Макгрегора ширилась влажная прогалина. Слепящий свет просачивался сквозь зеленые циновки и бил по глазам, дурманя разум. Все думали с тоской о предстоящем плотном завтраке и убийственно долгих дневных часах. Мистер Макгрегор встал со вздохом и поправил очки, сползавшие по скользкому носу.

– Увы, пора заканчивать столь приятное собрание, – сказал он. – Мне надо домой к завтраку. Заботы империи. Подвезти кого-нибудь? У крыльца моя машина с шофером.

– О, спасибо вам, – сказала миссис Лэкерстин. – Возьмете нас с Томом? Какое облегчение не ходить пешком в такую жару!

Все встали. Вестфилд потянулся и подавил зевок, втянув носом воздух.

– Лучше, пожалуй, двигаться. Засну, если дальше буду тут сидеть. Весь день еще в конторе париться! Горы бумаг изводить. О боже!

– Не забудьте, вечером теннис, всех касается, – сказал Эллис. – Максвелл, черт ленивый, больше не увиливай. Чтоб был тут с ракеткой ровно в четыре тридцать.

– *Après vous, madame*²², – сказал галантно мистер Макгрегор в дверях.

– Веди, Макдуф, – сказал Вестфилд.

Они вышли на слепяще-белый свет. От земли шибало жаром, точно от духовки. Цветы угнетали буйством красок, не колышась ни единым лепестком под неистовым солнцем. Безжалостный свет пронизывал до костей. Мысль об этом синем, слепящем небе, раскинувшемся над всей Бирмой и Индией, над Сиамом, Камбоджей, Китаем, совершенно безоблачном небе, – эта мысль наводила ужас. Корпус машины Макгрегора раскалился как утюг. Начиналось самое жуткое время дня, время, когда, по словам бирманцев, «ноги молчат». Все живое оцепенело, не считая людей, колоний черных муравьев, любителей жары, маршировавших через тропинку, и бесхвостых стервятников, бездвижно паривших в воздушных потоках.

²² После вас, мадам (фр.).

3

За воротами клуба Флори повернул налево и пошел по базарной дороге в тени фиговых деревьев. Через сотню ярдов зазвучала бравурная музыка – это взвод военной полиции, долговязых индийцев в хаки, маршировал в казармы, ведомый юным гуркхом²³, игравшим на волынке. Флори направлялся к доктору Верасвами. Доктор жил в длинном бунгало из просмоленных досок, стоявшем на сваях в обширном запущенном саду, граничившем с садом Европейского клуба. Дорога подходила к дому сзади, а фасад его был обращен к больнице, располагавшейся на берегу реки.

Едва зайдя в калитку, Флори услышал испуганные женские возгласы из дома и беготню. Очевидно, он слегка разминусь с женой доктора. Обойдя дом, он позвал у веранды:

– Доктор! Вы заняты? Можно зайти?

Из дома выскочила, точно чертик из шкатулки, черно-белая фигурка доктора. Подбежав к перилам, он затараторил:

– Можно ли сайти! Конечно, конечно, саходите скорее! Ах, мистер Флори, как расчудсно вас видеть! Саходите, саходите. Что будете пить? Есть виски, пиво, вермут и прочий европейский алкоголь. Ах, дражайший друг, как я саскучал по культурной беседе!

Доктор, темнокожий курчавый толстячок с доверчивыми круглыми глазами за очками в стальной оправе, был одет в мешковатый белый саржевый костюм с брюками, собранными гармошкой, и грубые черные башмаки. Говорил он с горячностью, тараторя и шепелявя. Пока Флори поднимался по ступенькам, доктор метнулся в дальний конец веранды и, открыв большой жестяной ледник, стал быстро вынимать всевозможные бутылки. Широкая веранда напоминала сумрачный грот за стеной солнечного водопада благодаря свисавшим с низкого навеса корзинам с папоротником. На веранде стояли шезлонги с плетеными сиденьями тюремного производства, а с краю – книжный шкаф, вмещавший не слишком увлекательную библиотечку, в основном из эссеистики в духе Эмерсона – Карлейля – Стивенсона. Доктор, страстный читатель, любил, чтобы в книгах имелся, как он говорил, «моральный посыл».

– Ну, доктор, – сказал Флори, усаживаясь в шезлонг (доктор выдвинул подставки для ног, чтобы он мог вытянуться, и подал ему сигареты и пиво). – Ну, доктор, как у нас дела? Как там Империя Британника? Разбита параличом, как обычно?

– Аха, мистер Флори, она очень слаба, очень слаба! Восникли серьесные осложнения. Септицемия, перитонит и паралич центральной нервной системы. Боюсь, придется посфать специалистов. Аха!

Друзья шутили между собой, будто Империя Британника была пожилой пациенткой доктора. Доктор был в восторге от этой шутки – она не приедалась ему уже два года.

– Эх, доктор, – сказал Флори, вытягиваясь на шезлонге, – как же у вас хорошо после чертова клуба. Когда иду к вам, чувствую себя, как протестантский пастор, улизнувший в город к девкам. Такой восхитительный отдых от *них*, – он шевельнул одной ногой в сторону клуба, – от моих дражайших соратников, строителей Империи. Британский престиж, бремя белого человека, пакка-сахиб²⁴ *sans peur et sans reproche*²⁵ – ну, знаете. Такое облегчение, глотнуть свежего воздуха после этого смрада.

– Друг мой, друг мой, не надо, не надо, прошу! Это восмутительно. Вы не должны так говорить о достойных английских джентльменах!

²³ Непальские горцы, традиционно служившие в Британских колониальных войсках.

²⁴ Благородный господин (*хид*).

²⁵ Без страха и упрека (*фр.*).

– Вам, доктор, не приходится выслушивать этих достойных джентльменов. Я с утра терпел их, сколько мог. Эллиса, с его «грязными ниггерами», Вестфилда, с его шуточками, Макгрегора, с его латинскими фразочками и «подателю сего всыпьте пятнадцать плетей». Но, когда они принялись за эту историю о старом хавилдаре – ну, знаете, о старом сержанте, который сказал, что, если британцы уйдут из Индии, здесь не останется ни денег, ни девственниц – знаете; вот тогда я понял, больше не могу. Пора бы уже старому хавилдару на покой. Он мелет одно и то же с юбилея восемьдесят седьмого²⁶.

Доктор стал с горячностью возражать ему, как бывало всякий раз, когда Флори критиковал членов клуба. Он стоял в своем белом костюме, облокотившись о перила, и то и дело жестикулировал. Подыскивая какое-нибудь слово, он смыкал в кольцо указательный палец с большим, словно пытаясь уловить что-то в воздухе.

– Ну, правда, правда, мистер Флори, не надо так говорить! Сачем вы всегда ругаете пакка-сахибов, как вы их насыфаете? Они соль семли. Восьмите то великое, что они сделали – восьмите великих руководителей, которые сделали Британскую Индию тем, что она есть. Восьмите Клайва, Уоррена Хастингса, Далхауси, Керсона. Это были такие мужи – перефразирую вашего бессмертного Шекспира: то были люди в полном смысле слова, таких нам больше не видать!

– Что ж, вам хотелось бы видать таких? Мне – нет.

– И восьмите самый тип английского джентльмена! Их восхитительную верность друг другу! Дух частной школы! Даже те, цьи манеры высифают сожаление – есть англичане спесивые, приснаю – обладают великими, блестящими качествами, каких недостает нам, асиатам. Под внешней грубостью сердца их солотые.

– Или лучше сказать позолоченные? Есть такое мнимое английское братство в этой стране. Традиция вместе жрать и бухать, притворяясь друзьями, хотя мы все друг друга ненавидим, как отраву. Держаться вместе, так мы это называем. Это политический расчет. Естественно, машину смазывает выпивка. А иначе мы бы озверели и поубивали друг друга за неделю. Вот тема для ваших эссеистов-моралистов, доктор. Бухло как цемент империи.

Доктор покачал головой.

– Право, мистер Флори, я не снаю, что сделало вас таким циником. Это совершенно не к месту! Вы – английский джентльмен таких дарований, таких достоинств – рассуждаете, как какой-нибудь мятежник из «Бирманского патриота»!

– Мятежник? – сказал Флори. – Я не мятежник. Я не хочу, чтобы бирманцы вытурили нас из страны. Боже упаси! Я здесь деньги делаю, как и все. Я только против одного – словоблудия о бремени белого человека. Этой позы пакка-сахиба. Осточертело. Даже это паршивое дурачье в клубе могло бы быть сносной компанией, если бы вся наша жизнь не была пропитана ложью.

– Но, дорогой мой друг, какой же ложью пропитана ваша жизнь?

– А как же? Той ложью, что мы пришли окультуривать наших бедных черных собратьев, а не просто грабить их. Ложь, можно сказать, вполне естественная. Но она нас разлагает, так разлагает, что вы и представить не можете. Все время преследует чувство, что ты плут и лжец, и это изводит нас и заставляет оправдываться дни и ночи напролет. В этом корень половины нашего скотства с туземцами. Мы, англоиндийцы, были бы даже почти ничего, если бы только признали, что мы воры и намерены воровать без всякого лицемерия.

Доктор, довольный собой, ухватил шепотку воздуха.

– Слабость вашего аргумента, дорогой мой друг, – сказал он, радуясь собственной иронии, – слабость, по всей видимости, в том, что вы *не* воры.

– Ну, дорогой мой доктор...

Флори сел ровно в шезлонге, отчасти из-за красной потницы, вонзившейся ему в спину тысячей игл, отчасти потому, что начался его любимый спор с доктором. Этот спор, имевший,

²⁶ В 1887 г. отмечался 50-летний юбилей правления королевы Виктории.

по сути, смутное отношение к политике, возникал всякий раз, как встречались эти двое. И происходил он шиворот-навыворот, поскольку англичанин костерил англичан, а индеец фанатично их защищал. Доктор Верасвами страстно восхищался всем английским, и никакие уколы со стороны англичан не могли поколебать в нем это. Он сам с готовностью признавал, что индийцы являются низшей, деградировавшей расой. Его вера в британское правосудие была так велика, что не слабела даже тогда, когда он наблюдал в тюрьме телесные наказания или повешения, после которых приходил домой с посеревшим лицом и накачивался виски. Его шокировали мятежные взгляды Флори, но и доставляли порочное удовольствие, какое испытывает истовый верующий, слыша, как молитву «Отче наш» читают задом наперед.

– Дорогой мой доктор, – сказал Флори, – как вы можете утверждать, что мы в этой стране с какой-то иной целью, кроме воровства? Это так просто. Чиновник держит бирманца за горло, пока бизнесмен обшаривает его карманы. Вы считаете, могла бы моя фирма, к примеру, получить контракт на вывоз леса, если бы страна не была в руках британцев? Или другие лесоторговые фирмы, или нефтяные компании, или горнодобытчики, плантаторы и коммерсанты? Как бы Рисовый синдикат обдирал несчастных крестьян, если бы за ним не стояло правительство? Британская империя – это просто машина, которая обеспечивает торговые монополии английским, точнее сказать, еврейским и шотландским бандам.

– Друг мой, мне печально слышать, что вы так говорите. Поистине, печально. Вы говорите, вы стесняетесь коммерцией? Конечно, так и есть. Могли бы бирманцы саниматься коммерцией? Могут они делать машины, корабли, рельсы и дороги? Они без вас беспомощны. Что бы стало с бирманским лесом, если бы не англичане? Его бы тут же продали японцам, которые бы вырубили все под корень. А вместо этого вашими руками лес фактически культивируется. И пока ваши бизнесмены расрабатывают ресурсы нашей страны, ваши чиновники нас окультуривают, поднимая до своего уровня, из чистого духа солидарности. Потрясающий пример самоотречения.

– Чушь, дорогой мой доктор. Признаю, мы учим молодежь пить виски и играть в футбол, но мало чему сверх того. Посмотреть на наши школы – это же фабрики для дешевых клерков. Мы никогда не учили индийцев никакому полезному ремеслу. Духу не хватает; боимся промышленной конкуренции. Больше того, мы погубили немало отраслей. Где теперь индийский муслин? Лет восемьдесят назад в Индии строили морские суда и снаряжали их. А теперь не построят и хорошей рыбацкой лодки. В восемнадцатом веке индийцы отливали пушки, не уступавшие европейским образцам. Теперь же, после того как мы пробыли в Индии полторы сотни лет, у вас на всем континенте не сделают и медной гильзы. Единственные азиатские народы, кто развивался быстро, это народы независимые. Не будем трогать Японию, но возьмите Сиам...

Доктор возбужденно замахал рукой. Он всегда прерывал оппонента, когда тот упоминал Сиам (как правило, спор повторялся по одной и той же схеме, почти слово в слово), не желая признавать поражения.

– Друг мой, друг мой, вы сабываете азиатский характер. Как иначе обрасовывать нас, при нашей бесфольности и суеверности? Вы, по крайней мере, дали нам закон и порядок. Неколебимое британское правосудие и мир народов.

– Мор народов, доктор, мор народов – так будет правильно. И в любом случае, для кого этот мир? Для ростовщика и законника. Конечно, мы поддерживаем в Индии мир, в наших же интересах, но к чему сводится весь этот закон и порядок? Больше банков и больше тюрем – вот и все.

– Какие чудовищные искажения! – воскликнул доктор. – Расфе тюрьмы совсем не нужны? И расфе вы не принесли нам ничего другого, кроме тюрем? Восемьдесят Бирму времен

Тибо²⁷ – грязь и пытки, и невежество – и посмотрите, что сейчас. Просто выгляньте с этой веранды – фсключите на эту больницу и чуть правее, на школу и полицейский участок. Фсключите на весь этот мосьный рывок прогресса!

– Конечно, я не отрицаю, – сказал Флори, – что мы определенным образом модернизируем эту страну. Это неизбежно. Правда в том, что мы не уберемся отсюда, пока не изничтожим всю бирманскую национальную культуру. Но мы их не цивилизуем, мы только мажем их нашей грязью. Что это принесет, этот рывок прогресса, как вы его называете? Только наши свинские побрякушки – граммофоны и шляпы-котелки. Иногда я думаю, что через двести лет ничего этого, – он махнул ногой в сторону горизонта, – ничего этого не останется – ни лесов, ни деревень, ни монастырей, ни пагод – все пропадет. Вместо этого будут розовые виллы на участках в полсотни ярдов; по всем холмам, насколько хватит глаз, вилла за виллой, и в каждой будет граммофон играть одно и то же. А все леса спилят под корень – перемелют на пулпу для «Мировых новостей» или понаделают граммофонов. Но деревья способны мстить, как говорит старик в «Дикой утке». Вы ведь читали Ибсена?

– Ах, нет, мистер Флори, увы! Это могучий, выдающийся расум, как говорит о нем вдохновенный Бернард Шоу. Мне еще предстоит это удовольствие. Но, друг мой, чего вы не видите, так это того, что ваша цивилизация даже в худших своих проявлениях несет нам пользу. Граммофоны, котелки, «Мировые новости» – все это лучше, чем ужасная азиатская лень. Я вижу британцев, даже наименее примерных, некими... некими, – доктор искал подходящее выражение и нашел его, вероятно, где-нибудь у Стивенсона, – факельсиками на пути прогресса.

– А я – нет. Я в них вижу таких современных, гигиеничных, самодовольных вшей. Которые скачут по миру, застраивая его тюрьмами. Построят тюрьму и назовут это прогрессом, – добавил он не без горечи, сомневаясь, что доктор уловит аллюзию.

– Друг мой, вы положительно заиклились на тюрьмах! Восьмите другие достижения ваших собратьев. Они строят дороги, орошают пустыни, побеждают голод, строят школы, открывают больницы, борются с чумой, холерой, прокасой, оспой, венерическими болезнями...

– Которые сами же и завезли, – вставил Флори.

– Нет, сэр! – возразил доктор, стремясь приписать эту заслугу своим соотечественникам. – Нет, сэр, это индийцы савесли венерические болезни в эту страну. Индийцы савосят болезни, а англичане лечат. *Вот* и ответ на весь ваш пессимизм и бунтарство.

– Ну, доктор, мы никогда не придем к согласию. Факт в том, что вам нравится весь этот современный прогресс, а мне он слегка претит. Думаю, Бирма времен Тибо пришлась бы мне больше по вкусу. И, как я уже говорил, если мы кого и цивилизуем, то только ради большего барыша. Мы быстро дадим задний ход, если не получим выгоды.

– Друг мой, вы ведь так не думаете. Будь вы на самом деле противник Британской империи, вы бы не говорили об этом с гласу на глас. Вы бы саявляли это во всеуслышание. Я снаю ваш характер, мистер Флори, лучше, чем вы сами снаете себя.

– Простите, доктор; я не стану заявлять об этом во всеуслышание. Кишка тонка. Я «исповедую постыдное бездействие»²⁸, как старый Велиал в «Потерянном рае». Так надежней. В этой стране выбор простой: будь пакка-сахибом или умри. Я за пятнадцать лет ни с кем не говорил по душам, кроме вас. Мои беседы с вами – это предохранительный клапан; маленькая черная месса под шумок, если понимаете.

В этот момент кто-то отчаянно заскулил. На солнцепеке, у самой веранды, стоял старый индус Матту, дурван, то есть привратник европейской церкви. Он едва прикрывал наготу грязными лохмотьями и дрожал, словно в лихорадке, всем своим видом напоминая большого ста-

²⁷ Король верхнебирманского государства Ава, завоеванного англичанами в 1885 г.

²⁸ Цит. из «Потерянного рая» Д. Мильтона в пер. А. Штейнберга.

рого кузнечика. Жил он при церкви, в лачуге из расплюснутых жестянок от керосина, откуда иногда суетливо вылезал, завидев европейца, чтобы отвесить земной поклон и пожаловаться на свой талаб²⁹, составлявший восемнадцать рупий в месяц. Сейчас он жалобно глядел на веранду, елозя одной рукой по грязному животу, а другой как бы кладя что-то в рот. Доктор засунул руку в карман и бросил через перила мелочь. Все попрошайки Чаутады знали о его мягкосердечии и регулярно к нему наведывались.

– Вот, уфрите вырождение востока, – сказал доктор, указывая на Матту, сгибавшегося пополам, точно гусеница, бормоча благодарности. – Посмотрите на его болесненные члены. У него икры тоньше, чем запястья европейцев. Посмотрите, как он жалок и угодлив. Посмотрите на его невежество – такое невежество неведомо в Европе са пределами психиатрических клиник. Как-то раз я спросил Матту, сколько ему лет. Он сказал, сахиб, мне вроде десять лет. И вы делаете вид, мистер Флори, что не превосходите естественным обрасом таких состаний?

– Бедный старый Матту; мощный рывок прогресса, похоже, обошел его стороной, – сказал Флори и тоже бросил мелочь через перила. – Давай, Матту, иди, напейся. Деградируй по полной. Утопия нас подождет.

– Аха, мистер Флори, иногда я думаю, все, что вы говорите, это сплошь – как это сказать – шутовство. Английское чувство юмора. У нас, асиатов, как всем исфестно, нет юмора.

– Счастливые вы черти. Погибель наша, этот проклятый юмор, – он зевнул, закинув руки за голову, а Мату промямлил что-то благодарственное и зашаркал восвояси. – Пожалуй, мне надо идти, пока проклятое солнце не слишком высоко. Этот год будет адски жарким, костями чую. Ну, доктор, мы так увлеклись спорами, что я не спросил, что у вас нового. Я только вчера из джунглей. И послезавтра должен возвращаться – не знаю пока, поеду ли. Ничего такого не случилось в Чаутаде? Никаких скандалов?

Доктор неожиданно посерьезнел. Он снял очки и стал похож благодаря своим темным прозрачным глазам на черного ретривера. Отведя взгляд, он заговорил уже не так оживленно.

– Дело в том, друг мой, что насревает пренеприятное дело. Вы, наверно, будете смеяться – как будто ерунда, – однако я в серьезной беде. Или, точнее, мне гросит беда. Это подковерные дела. Вы, европейцы, никогда о них не уснаете напрямую. В этих местах, – он махнул рукой в сторону базара, – постоянные интриги и саговоры, о которых вы не снаете. Но для нас они много сначат.

– Так, что тут происходит?

– А вот что. Против меня плетут саговор. Самый серьезный саговор, имеющий целью очернить меня и погубить мою официальную карьеру. Как англичанин, вы не поймете этих вещей. Я навлек на себя неприязнь одного человека, вы его вряд ли снаете – это Ю По Кын, окружной судья. Он опаснейший человек. Неприятности, что он может доставить мне, неисчислимы.

– Ю По Кын? Это какой такой?

– Сторовый субастый толстяк. Его дом там, дальше по дороге, через сотню ярдов.

– А, тот толстый прохвост? Хорошо его знаю.

– Нет-нет, друг мой, нет-нет! – воскликнул доктор с горячностью. – Вы его снать не можете. Только азиат может его снать. Вам, английскому джентльмену, не постичь такой натуры, как Ю По Кын. Он больше, чем прохвост, он... как же это скаать? Слов не хватает. Он словно крокодил в человечесем обличье. У него коварство крокодила, его жестокость, его свирепость. Снали бы вы, на что он способен! Какие гадости творил! Вымогательства, фсятки! Сколько девушек испортил – насиловал их на гласах матерей! Эх, английский джентльмен не может помыслить такого человека. И такой человек поклялся меня погубить.

²⁹ Жалованье (бирм.).

– Я слышан о Ю По Кыне из разных источников, – сказал Флори. – Он, похоже, превосходный образчик бирманского законника. Один бирманец говорил мне, что во время войны Ю По Кын набирал рекрутов и собрал целый батальон из своих внебрачных сыновей. Это правда?

– Едва ли так, – сказал доктор, – ведь он не настолько стар. Но в его подлости сомнений быть не может. А теперь он воснамерился погубить меня. Во-первых, он ненавидит меня потому, что я слишком много снаю о нем; а кроме того, он враг всякого расумно честного человека. Он пустит в ход – так действуют подобные ему – клевету. Будет распространять доносы на меня – доносы самые восмутительные и лживые. Он уже начал.

– Но кто же поверит такому малому против вас? Он всего лишь местный судья. А вы официальное лицо.

– А, мистер Флори, вам не понять азиатского коварства. Ю По Кын погубил таких официальных лиц – повыше меня. Он найдет, как сделать, чтобы ему поверили. И потому... эх, трудное это дело!

Доктор коротко прошелся туда-сюда по веранде, протирая очки платком. Очевидно, у него было что-то еще на уме, но деликатность не позволяла ему высказать это. На миг Флори стало настолько не по себе при виде доктора, что он готов был спросить, не может ли чем-то помочь, но сдержался, поскольку знал, что вмешиваться в склоки азиатов бессмысленно. Никакой европеец никогда не поймет до конца, в чем там дело; это что-то непостижимое для европейского разума, интрига на интриге и заговор на заговоре. К тому же один из Десяти заветов пакка-сахиба гласил не вмешиваться в склоки «туземцев».

– Так, в чем, собственно, трудность? – спросил он неуверенно.

– Да вот, если бы только... ах, друг мой, боюсь, вы будете смеяться надо мной. Но дело вот в чем: если бы только я состоял в вашем Европейском клубе! Если бы только! Как по-другому все было бы для меня!

– В клубе? Зачем? Как бы это помогло вам?

– Друг мой, в таких делах престиж – это все. Ведь Ю По Кын не станет нападать на меня открыто; он никогда не посмеет; он будет клеветать и слословить. А поверят ему или нет, всецело зависит от моего статуса у европейцев. В Индии так саведено. Если наш престиж хорош, мы восвышаемся; если плох, падаем. Кивнуть, подмигнуть может значить больше, чем тысяча официальных бумаг. И вы не снаете, какой престиж дает индийцу состоять в Европейском клубе. В клубе он практически европеец. Никакой навет не коснется его. Член клуба вне подосрений.

Флори смотрел в сторону, за край веранды. Он встал, словно собираясь уходить. Ему всегда становилось стыдно и неудобно, когда им приходилось признавать, что доктор из-за своей темной кожи не может стать членом клуба. Неприятно, когда твой близкий друг не равен тебе в классовом отношении; но в Индии от этого никуда не деться.

– Вас могут избрать на следующем общем собрании, – сказал он. – Не говорю, что так будет, но такое возможно.

– Полагаю, мистер Флори, вы не думаете, что я прошу вас предложить меня в члены клуба? Упаси бог! Я снаю, вам это невозможно. Я только саметил, что будь я членом клуба, я бы тотчас стал неуясфим...

Флори нахлобучил шляпу и тронул стеком Фло, заснувшую под стулом. Ему было очень не по себе. Он понимал, что, по всей вероятности, если бы он осмелился схлестнуться раз-другой с Эллисом, он бы добился принятия в клуб доктора Верасвами. Ведь доктор, как-никак, ему друг, да что там, едва ли не единственный друг в Бирме. Они вели сотни разговоров и споров, доктор ужинал у него дома и даже хотел представить Флори своей жене, но та, благочестивая индуска, в ужасе отказалась. Флори не раз брал его на охоту, и доктор, обвешанный патронташами и охотничьими ножами, карабкался, тяжело дыша, по склонам холма, скольз-

ким от бамбуковой листвы, и палил из ружья куда попало. Элементарная порядочность требовала поддержать доктора. Но Флори понимал, что сам доктор никогда не попросит о помощи, как и то, что принять в клуб азиата не получится без отчаянной схватки. Нет, ему такое не по зубам! Оно того не стоит.

– По правде говоря, – сказал он, – об этом уже был разговор. Они сегодня утром обсуждали, а паршивец Эллис гнул свою обычную линию про «грязных ниггеров». Макгрегор предложил избрать кого-нибудь из туземцев. Полагаю, пришло такое распоряжение.

– Да, я слышал. Мы тут все в курсе. Поэтому мне на ум и пришла такая идея.

– Это должно решиться на общем собрании в июне. Не знаю, что получится, – думаю, решающее слово будет за Макгрегором. Я за вас проголосую, но это все, что я могу. Простите, но это так. Вы не знаете, какая поднимется свара. Вполне возможно, вас выберут, но они делают это против воли, из-под палки. У них бзик насчет того, чтобы сохранить клуб «белым», как они говорят.

– Конечно, конечно, мой друг! Я прекрасно понимаю. Упаси бог, чтобы вы ис-са меня портили отношения со своими европейскими друзьями. Я прошу вас, не надо рисковать ис-са меня! Самый факт того, что вы мой друг, приносит мне больше пользы, чем вы можете подумать. Престиж, мистер Флори, это как барометр. Каждый раз, как вас видят входящим в мой дом, ртуть поднимается на полградуса.

– Что ж, надо постараться обеспечить вам «ясную погоду». Боюсь, это едва ли не все, что я могу для вас сделать.

– Одно это много значит, друг мой. И в этой сваси есть еще кое-что, о чем я должен вас предупредить, хотя вы, боюсь, будете смеяться. Дело в том, что вам тоже надо беречься Ю По Кына. Берегитесь крокодила! Он несомненно нападет на вас, когда поймет, что я с вами накоротке.

– Ну, лады, доктор, буду беречься крокодила. Только, я не думаю, что он способен сильно навредить мне.

– По крайней мере, попытается. Я его снаю. Такова его тактика – лишить меня друзей. Возможно, он даже осмелится клеветать и на вас.

– На меня? Боже правый, никто не поверит ему против *меня*. *Civis Romanus sum*³⁰. Я же англичанин, а значит, вне подозрений.

– Все равно, опасайтесь его наветов, друг мой. Нелься недооценивать его. Он придумает, как вас садеть. Он же крокодил. И, как всякий крокодил, – доктор выразительно потер пальцами, ища нужные слова, – как всякий крокодил, он всегда бьет в слабое место!

– А крокодилы всегда бьют в слабое место, доктор?

Оба друга рассмеялись. Они были достаточно близки, чтобы периодически смеяться над английскими оборотами доктора. Вероятно, в глубине души доктор был слегка разочарован, что Флори не пообещал ввести его в клуб, но он бы этого ни за что не признал. А Флори был рад сменить тему, столь неприятную, что лучше бы он вообще ее не касался.

– Что ж, мне, правда, пора, доктор. Всего доброго, если больше не свидимся. Надеюсь, все будет в порядке на общем собрании. Макгрегор ведь не узколобый ретроград. Смею сказать, он будет настаивать на вашем принятии.

– Будем надеяться, друг мой. Так я смогу одолеть сотню Ю По Кынов. Тысячу! Всего доброго, друг мой, всего доброго.

Флори поправил шляпу и пошел домой по залитому солнцем майдану, собираясь позавтракать, хотя долгие утренние возлияния, вместе с курением и разговорами, не способствовали аппетиту.

³⁰ Я – римский подданный (лат.).

4

Флори спал в одних черных шароварах на влажной от пота постели. Весь день он бездельничал. Примерно три недели каждого месяца он проводил в лагере, а в Чаутаду наезжал на несколько дней, в основном чтобы бездельничать, поскольку конторских дел у него почти не было.

Спальня представляла собой просторную квадратную комнату с белыми оштукатуренными стенами, открытыми дверными проемами и стропилами без потолка – на них гнездились воробьи. Из мебели была большая кровать с откидным балдахином из москитной сетки, плетеный стол, стул и зеркальце, а также грубые книжные полки, на которых стояли несколько сотен книг, заплесневших и загаженных мокрицами за долгие годы. На стене распластался геккон, напоминая геральдического дракона. За навесом веранды свет струился сияющей маслянистой стеной. Монотонное голубиное воркование, доносившееся из зарослей бамбука, причудливо вплеталось в знойный день, навевая дрему наподобие не колыбельной, но паров хлороформа.

В двух сотнях ярдов ниже, возле бунгало Макгрегора, дурван, служивший живыми часами, четырежды ударил по висячей рельсе. Этот звук разбудил слугу Флори, Ко Слу, и он вошел в кухню, раздул угли в очаге и вскипятил воду для чая. Затем накинуд розовый гаунбаун и муслиновую инджи и принес к кровати хозяина чайный поднос.

Ко Сла (полным его именем было Маун Сен Хла), типичный бирманский мужик, низкорослый и коренастый, отличался очень темной кожей и затравленным выражением лица. И хотя, как у большинства бирманцев, борода у него не росла, он отпустил черные усы, свисавшие по краям рта. Флори он служил с тех пор, как тот приехал в Бирму. Эти двое были почти ровесниками. Они росли вместе, выслеживали куликов и уток, устраивали бок о бок засады на деревьях, тщетно ожидая тигров, делили невзгоды тысяч походов и марш-бросков; также Ко Сла подыскивал Флори подружек, занимал для него деньги у китайских ростовщиков, укладывал его после пьянок в постель и выхаживал во время приступов лихорадки. В глазах Ко Слы холостяк Флори так и остался мальчишкой, тогда как сам он женился, породил пятерых детей, а затем удвоил тяготы супружества, взяв вторую жену. Как всякий слуга холостяка, Ко Сла был ленив и неряшлив, зато предан Флори. Он не позволял никому другому прислуживать ему за столом, носить его ружье или придерживать пони, пока тот садился в седло. Если же во время марш-броска путь им преграждал ручей, Ко Сла переносил Флори на закорках. Он жалел Флори, отчасти потому, что считал его большим доверчивым ребенком, отчасти из-за родимого пятна, внушавшего ему ужас.

Ко Сла беззвучно поставил чайный поднос на стол, а затем подошел к изножью кровати и пощекотал Флори пальцы. Он знал, что это единственный способ разбудить его, не вызвав раздражения. Флори перекатился, выругался и вжался лбом в подушку.

– Пробило четыре часа, наисвятейший, – сказал Ко Сла на бирманском. – Я принес две чашки – *женщина* сказала, что придет.

Женщиной была Ма Хла Мэй, любовница Флори. Ко Сла всегда называл ее просто женщиной, показывая свою неприязнь – не потому, что не одобрял такой связи, а просто из ревности к влиянию Ма Хла Мэй на хозяина.

– Святейший будет играть в теннис вечером? – спросил Ко Сла.

– Нет, слишком жарко, – сказал Флори по-английски. – Есть ничего не хочу. Унеси эту гадость и дай виски.

Ко Сла отлично понимал английский, хотя не говорил на нем. Он принес бутылку виски, а также теннисную ракетку Флори и тактично приложил ее к стене напротив кровати. В его понимании теннис был таинственным ритуалом, обязательным для всех англичан, и ему не нравилось, что хозяин валяется вечерами без дела.

Флори с отвращением отодвинул бутерброд, который принес Ко Сла, но налил в чай виски, выпил и почувствовал себя лучше. Он спал с полудня, и у него болела голова и ныли кости, а во рту был вкус горелой бумаги. Еда уже много лет не приносила ему удовольствия. Вся еда европейцев в Бирме хуже некуда: хлеб рыхлый, заквашенный на пальмовом соке, на вкус как паршивая грошовая булочка, масло консервированное, как и молоко, если не хочешь пить водянистую бурду дад-валлы, местного молочника.

Когда Ко Сла вышел из комнаты, Флори услышал скрип сандалий и гортанный голос бирманки:

– Мой хозяин проснулся?

– Входи, – сказал Флори нерадиво.

Вошла Ма Хла Мэй, скинув красные блестящие сандалии на пороге, как того требовал хозяин. Ей разрешалось, в виде особой привилегии, приходить к нему на чай, но прочих трапез Флори с ней не разделял.

Ма Хла Мэй было слегка за двадцать. Она носила инджи из белого крахмального муслина, с золотыми кулонами, и вышитую голубую лонджи из китайского сатина. Ее миниатюрная фигурка, пяти футов ростом, стройная и гладкая, была словно вырезана из дерева, а лицом с раскосыми глазами (округлым и спокойным, цвета чистой меди) она напоминала куклу, причудливо-прекрасную. Волосы, уложенные тугим черным валиком, украшали цветы жасмина. Ма Хла Мэй присела на край кровати, благоухая сандалом и кокосовым маслом, весьма смело обняла Флори и понюхала его щеку, как принято у бирманцев.

– Почему мой хозяин не послал за мной сегодня? – сказала она.

– Я спал. Слишком жарко для этих дел.

– Значит, вам лучше спать одному, чем с Ма Хла Мэй? Наверно, вы считаете меня уродкой! Я уродка, хозяин?

– Уходи, – сказал он, отстраняя ее. – Я сейчас не хочу тебя.

– Хотя бы коснитесь губами, – у бирманцев не было такого слова, как поцелуй. – Все белые мужчины делают так своим женщинам.

– Ну, хорошо. А теперь оставь меня. Возьми сигареты и дай мне одну.

– Почему вы больше не хотите любить меня? Ах, два года назад было совсем иначе! В те дни вы любили меня. Дарили золотые браслеты и шелковые лонджи из Мандалая. А теперь взгляните, – Ма Хла Мэй вытянула тонкую руку в муслиновом рукаве, – ни одного браслета. В прошлом месяце у меня было тридцать, а теперь все заложены. Как мне ходить на базар без браслетов и в одной и той же лонджи? Стыдно перед женщинами.

– Я, что ли, виноват, что ты заложила браслеты?

– Два года назад вы бы мне их выкупили. Ах, вы больше не любите Ма Хла Мэй!

Она снова обняла его и поцеловала; когда-то он сам обучил ее этому европейскому обычаю. От нее исходил смешанный запах сандала, чеснока, кокосового масла и жасмина. От этого запаха у него всегда сводило зубы. Он довольно отвлеченно уложил ее головой на подушку и взглянул на ее молодое экзотичное лицо: высокие скулы, раскосые глаза и губки бантиком. Зубки тоже хоть куда, словно у котенка. Он купил ее два года назад у родителей за триста рупий. Он стал поглаживать ее смуглую шею, поднимавшуюся из инджи без ворота, словно гладкий, стройный стебель.

– Я тебе нравлюсь только потому, что белый и с деньгами, – сказал он.

– Хозяин, я люблю вас, больше всего на свете люблю. Зачем вы так говорите? Разве я не всегда была вам верна?

– У тебя любовник бирманец.

– Фу! – Ма Хла Мэй вся передернулась. – Подумать только, чтобы меня трогали их ужасные бурые руки! Да я умру, если бирманец меня тронет!

– Врушка.

Он положил руку ей на грудь. Ма Хла Мэй никогда это не нравилось, как и всякий намек, что у нее есть грудь – в представлении бирманок идеальная женщина должна быть безгрудой. Она покорно отдалась ему, безвольно лежа со слабой улыбкой, словно кошка, позволяющая себя гладить. Объятия Флори ничего для нее не значили (ее тайным любовником был Ба Пе, младший брат Ко Слы), однако она очень обижалась, когда он отвергал ее. Иногда она даже добавляла любовное зелье ему в еду. Она очень дорожила беззаботной жизнью наложницы, позволявшей ей щеголять в родной деревне красивыми нарядами, изображая из себя «бо-кадо» – жену белого человека; она всех убедила, включая и себя, что была законной женой Флори.

После соития Флори отвернулся от нее, изнуренный и сам себе противный, молча улегся и накрыл рукой родимое пятно. Он всегда вспоминал о пятне, сделав что-то постыдное. Презирая себя за слабость, он зарылся лицом во влажную подушку, пахнувшую кокосовым маслом. Жара была ужасная, а голуби все так же ворковали. Голая Ма Хла Мэй склонилась над Флори и стала плавно обмахивать его плетеным веером, который взяла со стола.

Затем она встала, оделась и закурила сигарету, после чего вернулась в постель и стала поглаживать голое плечо Флори. Белизна его кожи очаровывала ее своей непривычностью и ощущением власти. Но Флори дернул плечом, сбросив ее руку. Как обычно после близости, она внушала ему дурноту и ужас. Все, чего он хотел, это чтобы она убралась с глаз долой.

– Уходи, – сказал он.

Ма Хла Мэй вынула изо рта сигарету и попробовала предложить Флори.

– Почему хозяин всегда такой злой на меня после любви? – сказала она.

– Уходи, – повторил он.

Ма Хла Мэй продолжала гладить плечо Флори. Она никак не могла усвоить, когда лучше оставить его одного. Для нее сладострастие было своего рода ведьмовством, наделявшим женщину магической властью над мужчиной, обещая под конец превратить его в безмозглого раба. Она верила, что с каждым объятием воля Флори слабела, а ее власть над ним крепла. Она стала донимать его ласками, надеясь соблазнить на второй раз. Отложив сигарету, она обвила его руками и попыталась повернуть к себе и поцеловать, браня за холодность.

– Уходи, уходи! – сказал он сердито. – Посмотри в кармане шортов. Там деньги. Возьми пять рупий и иди.

Ма Хла Мэй нашла бумажку в пять рупий и засунула себе за пазуху, но уходить не спешила. Она склонилась над кроватью и продолжила изводить Флори, пока он не вскочил со злости на ноги.

– Пошла вон отсюда! Я же сказал. Не хочу тебя видеть, когда дело сделано.

– Хорошо же вы обращаетесь со мной! Как с какой-то проституткой.

– А кто же ты? – сказал он. – Пошла вон.

Он вытолкал ее из комнаты и вышвырнул ногой ее сандалии. Их встречи часто заканчивались подобным образом.

Флори стоял посреди комнаты, зевая. Может, все-таки пойти в клуб, сыграть в теннис? Нет, тогда пришлось бы бриться, а он не мог решиться на это, пока не зальет в себя немного спиртного. Пощупав щетинистый подбородок, он поплелся к зеркалу, но затем передумал. Ему не хотелось видеть свое желтушное, осунувшееся лицо. Несколько минут он расслабленно стоял, глядя, как геккон над книжными полками крадется за мотыльком. Сигарета, которую выронила Ма Хла Мэй, едко чадила. Флори взял книгу с полки, открыл и отшвырнул подальше. Даже читать не было сил. О боже, боже, куда девать этот паршивый вечер?

В комнату вбежала Фло, виляя хвостом, и стала проситься на прогулку. Флори хмуро перешел в смежную маленькую ванную с каменным полом, поплескал на себя тепловатую воду и надел рубашку и шорты. Он должен был как-то размяться, пока солнце еще не зашло. Провести день в Индии, хорошенько не вспотев, страшное дело. Никакое сладострастие не сравнится

с этим грехом. Когда праздный день переходит в сумерки, подступает такая хандра, что хоть в петлю лезь. Ни дела, ни молитвы, ни книги, ни выпивка, ни болтовня – ничто не избавит от этой заразы; она выходит только с потом.

Флори вышел из дома и пошел вверх по склону, к джунглям. Он миновал заросли кустарника, с толстыми, корявыми ветвями, и полудикие манговые деревья, со смолистыми плодами не крупнее слив, и пошел по дороге, которую обступали деревья повыше, с пыльной тускло-оливковой листвой. В джунглях в это время года было сухо и спокойно. Даже птиц почти не встречалось, только под кустами неуклюже скакали какие-то бурые растрепанные особи, напоминавшие заморенных дроздов; где-то вдалеке другая птица рассмеялась гулким, как эхо, безрадостным смехом: «Ах-ха-ха! Ах-ха-ха!» В жарком воздухе одуряюще пахло палой листвой, хотя солнце уже не так припекало, и косые лучи пожелтели.

Мили через две дорога заканчивалась мелким ручьем. Джунгли у воды были зеленее, деревья – выше. На берегу лежал мощный ствол пинкадо, облепленный гирляндой орхидей, а рядом кустились заросли дикого лайма с белыми восковыми цветами и резким бергамотным запахом. От быстрой ходьбы у Флори выступил пот под рубашкой и на лице, защипало глаза. Он уже достаточно вспотел, и на душе стало легче. Да и ручей внушал отраду – вода была необычно прозрачной для такой илистой местности. Перейдя ручей по камням (Фло шлепала следом), Флори повернул на узкую, шедшую меж кустов тропу, протоптанную скотом к водопое. Через полсотни ярдов тропа выводила к заводу. Здесь рос гигантский тутовый баньян, чей ребристый ствол шести футов шириной обвивали бесчисленные побеги, напоминая древесный канат, скрученный великаном. В корнях образовалась естественная заводь с зеленоватой водой, в которой бурлил чистый родник. Пышная раскидистая крона превращала это место в тенистый грот, выложенный листвой.

Флори сбросил одежду и вошел в воду. Она была чуть прохладней воздуха и, когда Флори садился, доходила ему до шеи. В тело ему щекотно тыкались стайки серебристых барбусов, не крупнее сардин. Фло тоже плюхнулась в воду и стала молча плавать кругами, не хуже выдры с перепончатыми лапами. Эта заводь была хорошо ей знакома, поскольку Флори приходил сюда почти всякий раз, как бывал в Чаутаде.

Высоко в ветвях баньяна возникло шевеление и что-то зашебуршало, словно чайник закипал. Это стайка зеленых голубей клевала ягоды. Флори всмотрелся в огромный зеленый купол, пытаясь разглядеть птиц, но тщетно – они настолько идеально сливались с листвой, что были невидимы, однако все дерево казалось живым и мерцающим, словно бы его покачивали призраки птиц. Фло прислонилась к корням и зарычала на невидимые создания. Вскоре один голубь слетел на ветку пониже, не зная, что за ним наблюдают. Размером он уступал домашним голубям и отличался изяществом: спинка сине-зеленая, гладкая, как бархат, шейка и грудка переливались радугой, а лапки были точно розовый воск для зубных протезов.

Голубь покачивался взад-вперед на ветке, распуская грудные перышки и приглаживая коралловым клювом. У Флори сжалось сердце. Одиночество, горькое одиночество! Как часто в такие моменты, в уединенных лесных уголках, ему встречалось что-нибудь – птица, цветок, дерево – невыразимо прекрасное, и ни души не было рядом, чтобы поделиться этим. Прекрасное бессмысленно, если не с кем его разделить. Будь у него хоть один человек, всего один, чтобы разделить его одиночество! Голубь вдруг заметил человека и собаку, вспорхнул и унесся прочь, хлопая крыльями. Зеленого голубя редко когда увидишь живьем так близко. Летают они высоко, живут на верхушках деревьев и почти не садятся на землю, если только попить. Когда их ранишь выстрелом, они держатся за ветку до последнего, так что стрелявший уже забудет о них и уйдет, и тогда они умирают и падают.

Флори вышел из воды, оделся и вернулся на дорогу. Но пошел не домой, а повернул по тропинке на юг, в чашу, намереваясь сделать крюк и пройти через деревню, на опушке джунглей, а там и до дома рукой подать. Фло шныряла через кусты, повизгивая, когда колючки

царапали длинные уши. Как-то раз ей здесь попался кролик. Флори шел медленно и курил трубку, дым от которой поднимался недвижным плюмажем. Он был счастлив и спокоен после прогулки и чистой воды. Стало прохладней, только под деревьями с кроной погуще сохранялась жара, и свет смягчился. Вдалеке поскрипывали колеса воловьей упряжки.

Какое-то время Флори бродил в хитросплетении мертвых деревьев и разросшихся кустарников, не желая признавать, что заблудился. Когда же тропинку преградило огромное безобразное растение наподобие герани-переростка, чьи листья оканчивались заостренными усиками, он понял, что дела его плохи. В глубине зарослей загорелся зеленым светлячок, предвещающий сумерки. И тут послышался скрип колес упряжки, ближе, чем до того.

– Эй, сайя гьи, сайя гьи!³¹ – прокричал Флори, придерживая Фло за ошейник.

– Ба ле-де?³² – ответил бирманец.

Затем он прикрикнул на волов, и стук копыт замер.

– Будь добр, подойди, о, почтенный и ученый муж! Мы сбились с пути. Остановись ненадолго, о, великий строитель пагод!

Бирманец оставил упряжку и стал продираться сквозь заросли, рубя дахом³³ ползучие растения. Спасителем Флори оказался коренастый одноглазый мужик средних лет. Он вывел незадачливых путников на дорогу, и Флори забрался на его плоскую, неудобную телегу. Бирманец взялся за вожжи, прикрикнул на волов, ткнул их короткой палкой под хвосты, и скрипучая упряжка тронулась с места. Бирманцы редко смазывают колеса телег, ссылаясь на бедность, но на самом деле они верят, что скрип колес отгоняет злых духов.

Миновав беленую деревянную пагоду не выше человеческого роста, заросшую ползучими растениями, упряжка въехала в деревню из двадцати ветхих хижин, крытых соломой, и одного колодца под бесплодными финиковыми пальмами. Цапли, гнездившиеся на пальмах, летели одна за другой домой, проносясь над деревьями, точно белые стрелы. Желтокожая толстуха в лонджи, затянутой под мышками, носилась вокруг хижины за собакой, размахивая бамбуковой палкой и смеясь, и собака тоже смеялась на свой лад. Деревня называлась Няунлебин, что означало «Четыре баньяна», хотя последние баньяны были вырублены здесь лет сто назад. Жители деревни возделывали узкое поле, протянувшееся между городом и джунглями, а кроме того изготавливали повозки, которые продавали в Чаутаде. Под всеми хижинами валялись тележные колеса, здоровые, пяти футов в поперечнике, с грубо вытесанными, но крепкими спицами.

Флори слез с телеги, наградив возницу горстью мелочи. Из-под домов выскочили пестрые дворняжки и стали обнюхивать Фло, а за ними подтянулась пузатая, голая детвора, с волосами, завязанными узлом на макушке, и стала с расстояния глазеть на белого человека. Из хижины вышел и раскланялся сухощавый, бурый, как осенний лист, старик, деревенский староста. Флори присел на ступеньки его дома и раскурил трубку. Его мучила жажда.

– А вода у вас в колодце годится для питья, тагьи-мыин?³⁴

Староста задумался, почесав лодыжку левой ноги длинным ногтем правой.

– Кто пьет, тому годится, такин³⁵. А кто не пьет – не годится.

– А-а. Это мудро.

Толстуха, гонявшаяся за дворнягой, принесла закопченный глиняный чайник и чашку без ручки и налила Флори бледного зеленого чая с дымным вкусом.

– Мне надо идти, таги-мин. Спасибо за чай.

³¹ Подожди (*хинд.*).

³² Что такое? (*бирм.*)

³³ Бирманская сабля.

³⁴ Староста (*бирм.*).

³⁵ Хозяин (*бирм.*).

– Иди с богом, такин.

Флори пошел по дороге, выходящей на майдан, и пришел домой в ранних сумерках. Ко Сла, одевшись в чистую инджи, ждал в спальне. Он нагрел в двух канистрах воду для ванной, зажег керосинки и расстелил для Флори чистый костюм и рубашку. Чистая одежда служила намеком, чтобы Флори побрился, переоделся и пошел после ужина в клуб. Бывало, что он проводил вечера развалившись в кресле с книгой, в шароварах, и Ко Сла это не нравилось. Ему невмоготу было видеть, что хозяин ведет себя не так, как другие белые. А то, что Флори часто приходил из клуба пьяным, тогда как дома оставался трезвым, Ко Сла не смущало, ведь для белых быть пьяными в порядке вещей.

– Женщина ушла на базар, – объявил он, довольный, что Ма Хла Мэй не командует в доме. – Ба Пе пошел за ней с фонарем, проводить домой.

– Хорошо, – сказал Флори.

Ушла тратить свои пять рупий – ясное дело, на игру просадит.

– Вода для ванной готова, святейший.

– Погоди, сперва собаку приведем в порядок, – сказал Флори. – Неси гребень.

Англичанин с бирманцем уселись на пол и принялись расчесывать шелковую шкуру Фло и ощупывать ее пальцы, вынимая клещей. Этим они занимались каждый вечер. За день Фло успевала нахватать уйму клещей – жуткие серые твари, сперва не крупней булавочной головки, раздувались от крови до размера гороха. Каждого снятого клеща Ко Сла клал на пол и усердно давил большим пальцем ноги.

Затем Флори побрился, искупался, оделся и сел ужинать. Ко Сла стоял у него за спиной, подавая блюда и обмахивая плетеным веером. В центре столика он поставил букет алых гибискусов. Блюда были затейливыми и никудышными. Начитавшись поваренных книг, преемники индийских поваров, обученных французами столетия назад, могли сотворить любое блюдо, кроме съедобного. Поужинав, Флори направился в клуб, сыграть в бридж и накидаться в хлам, как делал почти всякий вечер в Чаутаде.

5

Несмотря на выпитое в клубе виски, Флори не заснул той ночью. Ущербная луна закатилась уже к полуночи, но бродячие собаки, проспавшие весь день из-за жары, иступленно выли на нее. Одна псина давно невзлюбила дом Флори и взяла себе за правило облаивать его. Она садилась в полусотне ярдов от ворот и каждые полминуты, как по часам, брехала отрывисто и злобно. Так продолжалось два-три часа, до первых петухов.

Флори ворочался с боку на бок, у него болела голова. Какой-то дурак сказал, что нельзя ненавидеть животное – ему бы не мешало провести ночь-другую в Индии, когда собаки воют на луну. В конце концов терпение Флори лопнуло. Он встал, вытащил из-под кровати жестяной армейский сундук, достал оттуда винтовку и пару патронов и вышел на веранду.

Даже при ущербной луне было довольно светло. Он видел собаку, как и мушку винтовки. Прислонившись к деревянному столбу веранды, он тщательно прицелился; когда твердый эбонитовый приклад коснулся его голого плеча, он поморщился. У винтовки была сильная отдача, оставлявшая синяк. Нежная плоть сжалась. Он опустил винтовку. Хладнокровный стрелок – это не про него.

Теперь он точно не заснет. Прихватив куртку и сигареты, Флори стал слоняться по саду, между призрачных цветов. Было жарко, и за ним неотступно вились москиты. По майдану гонялись друг за дружкой собачьи тени. Слева зловеще белели могилы английского кладбища, а чуть поодаль бугрились остатки китайских гробниц. Здесь, по слухам, водилась нечистая сила, и чокры из клуба плакали, когда их посылали через майдан в темное время.

«Шавка, бесхребетная шавка, – ругал себя Флори, впрочем, довольно вяло, как ругал уже не раз. – Трусливая, ленивая, не просыхающая, блудливая, самосозерцательная, вечно скулящая шавка. Все эти остолопы в клубе, эти тупые пентюхи, над которыми тебе так нравится превозноситься, они-то получше тебя, кого ни возьми. Они хотя бы мужчины, пусть и мужланы. Не трусы, не лжецы. Не падаль полудохлая. А ты...»

У него была причина к самобичеванию. В клубе в тот вечер произошло нечто скверное, грязное. Нечто вполне заурядное, вполне обыденное; но все равно паршивое, трусливое, бесчестное.

Когда Флори пришел в клуб, там были только Эллис и Максвелл. Лэкерстины отбыли на станцию, позаимствовав машину у Макгрегора, встречать племянницу, которая прибывала ночным поездом. Трое мужчин сели играть в бридж, и все шло вполне мирно, но затем появился Вестфилд с местной газетой «Бирманский патриот», пылая румянцем гнева на бледных щеках. В газете была клеветническая статья, порочившая мистера Макгрегора. Эллис и Вестфилд рассвирепели, как черти. Гнев их был столь велик, что Флори пришлось как следует постараться, чтобы выдать из себя приличествующие эмоции. Эллис матерился пять минут, после чего сверхъестественная прозорливость подсказала ему, что за статьей стоит доктор Верасвами. И тут же у него в уме созрел контрудар. Они напишут и повесят на доску записку, дающую от ворот поворот недавнему предложению мистера Макгрегора. Не теряя время, Эллис написал своим четким, убористым почерком:

«Ввиду подлого оскорбления, нанесенного намеренно нашему представителю комиссара, мы, нижеподписавшиеся, желаем выразить свое мнение относительно того, что сейчас самое неподходящее время, чтобы рассматривать принятие ниггеров в клуб» и т. д. и т. п.

Вестфилд зачеркнул «ниггеров» тонкой продольной линией и написал сверху «туземцев». Внизу были поставлены подписи: «Р. Вестфилд, П. В. Эллис, С. В. Максвелл, Дж. Флори».

Эллис так обрадовался своей находке, что гнев его умерился вдвое. Сама по себе записка мало что значила, но о ней быстро станет известно в городе, и уже завтра доктор Верасвами будет в курсе. Фактически европейское сообщество открыто называло доктора «ниггером».

Эллис был в восторге. Весь остаток вечера он то и дело взглядывал на доску и радостно восклицал:

– Теперь этот толстопузик призадумается, а? Покажем этому педикю, что мы о нем думаем. Вот, как с ними надо, а? И т. д. и т. п.

А Флори, стало быть, подписал публичное оскорбление своему другу. Он сделал это по той же причине, по какой уже тысячи раз делал что-то подобное; потому, что ему не доставало толики мужества, чтобы отказаться. Ведь он, конечно, мог отказаться, если бы решился; и тогда бы, конечно, Эллис с Вестфилдом ополчились против него. А Флори этого страсть как боялся! Насмешек, издевок! От одной мысли об этом он трепетал; он тут же вспоминал о родимом пятне, и горло у него сжималось, делая голос невнятным и виноватым. Только не это! Уж лучше нанести оскорбление другу – нечего и думать, что доктор не узнает об этом.

За пятнадцать лет, прожитых в Бирме, Флори успел усвоить, что нельзя перечить общественному мнению. Тем более что он и так всегда был изгоем. Он стал им еще в материнской утробе, где волей случая получил родимое пятно. Он помнил, как пятно заявляло о себе в его жизни с раннего возраста: когда он пошел в школу, в девять лет, все на него глазели, а через несколько дней другие мальчики стали дразнить его Синяком, и это продолжалось до тех пор, пока один школьный поэт (теперь – Флори это знал – ставший критиком, автором вполне приличных статей для «Нации») не сочинил куплет:

*Флори в джунгли ускакал,
Морду взял у индюка.*

С тех пор к нему пристало прозвище Индюк. И было кое-что еще. Субботними вечерами старшеклассники устраивали «испанскую инквизицию». Излюбленной пыткой было схватить кого-нибудь жутко болезненным захватом (Особым тоголезским), известным лишь избранным иллюминатам, чтобы другой тем временем лупил несчастного каштаном на леске. Но Флори со временем вырос из «Индюка», поскольку был лжецом и хорошо играл в футбол – эти качества гарантировали успех в школе. В свой последний семестр он с приятелем напал на школьного поэта в отместку за его вирши и схватил Особым тоголезским, а капитан крикетной команды отделал его шиповкой. Это был период становления.

Из той школы Флори перешел в дешевую, третьеразрядную частную школу. Заведение было бедным, сомнительным, но подражало великим частным школам с их традициями Высокого англиканства, крикета и латыни; имелся даже школьный гимн под названием «Жизнь – это борьба», в котором Бог фигурировал в виде Великого Рефери. Не доставало только главного достоинства великих частных школ – их атмосферы подлинной культуры. Мальчики росли вопиющими невеждами. Одних розог было мало, чтобы заставить их глотать пресную кашу учебной программы, а учителя, обиженные на жизнь и свою зарплату, никак не годились в мудрых наставников. Из школы Флори вышел юным неотесанным оболтусом. Но даже тогда у него были, и он это знал, определенные наклонности; наклонности, которые, весьма вероятно, сулили ему неприятности. Конечно, он их скрывал. Мальчик, прозванный когда-то Индюком, хорошо усвоил жизненный урок, прежде чем начать карьеру.

Ему не исполнилось и двадцати, когда он прибыл в Бирму. Его родители, добрые люди, беззаветно любившие сына, нашли ему место в лесоторговой фирме. Это далось им нелегко, оплата его страховки съела все их сбережения; они писали ему письма, однако сыновняя благодарность ограничивалась беглыми отписками с интервалами в несколько месяцев. Первые полгода его бирманской жизни прошли в Рангуне, где он, как считалось, осваивал кабинетную сторону дела. Жил он в одной «норе» с четырьмя другими молодчиками, отдававшими все свои силы разврату. Да какому! Они хлестали виски, которое втайне терпеть не могли, горла-

нили, наваясь на пианино, глупейшие, похабнейшие песенки и спускали сотни рупий на старых еврейских шляхах, страшных, как смертный грех. И это тоже был период становления.

Из Рангуна он перебрался в лагерь в джунглях, к северу от Мандалая, где добывали тиковое дерево. Жизнь в джунглях вполне его устраивала, несмотря на неудобства, одиночество и – едва ли не главное зло Бирмы – никудашную, однообразную еду. Флори тогда был еще очень молод, достаточно молод, чтобы геройская романтика кружила ему голову, и заводил друзей среди коллег. Кроме того, он охотился, рыбачил и примерно раз в год выбирался в Рангун, «к дантисту». Эх, хороши же были те рангунские вылазки! Набеги в знаменитый книжный «Смарт и Мукердам» за новыми романами из Англии, ужины в «Андерсоне», с бифштексами и маслом, проделавшими восемь тысяч миль в ящиках со льдом, грандиозные попойки! Он был слишком молод, чтобы понимать, что ждет его впереди. Не думал о веренице долгих лет одиночества, однообразия и морального разложения.

Он акклиматизировался в Бирме. Организм его привык к перепадам тропического климата. Каждый год с февраля по май солнце палило с небосвода, словно злой бог, затем налетал западный муссон, и вскоре хлесткий шквалистый ветер сменялся дождем, точнее ливнем, вымачивавшим все, что только можно: одежду, постель и даже еду. Жара не спадала, только добавлялось влажной духоты. Низины в джунглях превращались в топи, а рисовые поля – в трясины, источавшую затхлый запах. Обувь плесневела, как и книги. Полуголые бирманцы в широченных шляпах из пальмовых листьев вспахивали рисовые поля, погоняя волов по колено в воде. Затем женщины и дети высаживали зеленую рисовую рассаду, вминая каждый росток в грязь маленькими трехзубыми вилками. В июле и августе дождь лил почти непрерывно. Затем в какую-то ночь с высоты доносился птичий клич – это невидимые бекасы летели на юг из Центральной Азии. Дождь начинал стихать и прекращался в октябре. Поля высыхали, всходил рис, бирманские ребятишки играли в классики, гоня по земле семена бамбука, и запускали воздушных змеев на прохладном ветру. В начале короткой зимы возникало впечатление, что Верхнюю Бирму навещает призрак Англии. Повсюду расцветали полевые цветы, не сказать, чтобы английские, но очень похожие: пышная жимолость, шиповник с ароматом грушевых леденцов, даже фиалки в темных лесных уголках. Солнце держалось низко, с ночи до рассвета резко холодало, по долинам стелился белый туман, словно пар от гигантских чайников. Наступала пора стрелять уток и бекасов – их была тьма. С болот поднимались стаи диких гусей со звуком товарняка, несущегося по железному мосту. Рис колосился по грудь, желтый, словно рожь. Бирманцы выползали из домов, закутав головы, пряча руки под мышки и насупив от холода свои желтые лица. По утрам Флори шагал через хмурую туманную чащу с прогалинами росистой, почти английской травы между голых деревьев, на верхушках которых кучковались обезьяны в ожидании солнца. По вечерам, на обратном пути в лагерь, ему встречались буйволы, погоняемые мальчишками, и широкие рога плыли в промозглом тумане, точно полумесяцы. Все укутывались тремя одеялами, а неизменная цыплетина сменялась пирогами с дичью. Поужинав, англичане усаживались на бревна у большого костра, пили пиво и болтали об охоте. Красное пламя плясало, словно живое, отбрасывая круг света, по краю которого ютились слуги и кули³⁶, робевшие приближаться к белым, но тянувшиеся к огню, подобно собакам. Лежа в кровати было слышно, как с ветвей шелестит роса, словно крупный, тихий дождь. Хорошая жизнь, пока ты молод и тебя не тревожат мысли ни о будущем, ни о прошлом.

Флори было двадцать четыре, и он собирался в отпуск на родину, когда разразилась война. Он сумел уклониться от воинской службы, что было несложно и казалось в то время естественным. Штатские в Бирме убеждали себя для собственного спокойствия, что подлинный патриотизм состоял в том, чтобы «служить делу» (главное, делать акцент на слове «служить»); более того, те, кто оставил работу и ушел на фронт, вызывали негласную неприязнь.

³⁶ Чернорабочие.

Но правда была в том, что Флори не пошел на войну потому, что Восток уже развратил его, и ему не хотелось менять виски, слуг и бирманских девок на скучные строевые учения и тяготы солдатской жизни. Война рокотала где-то за горизонтом, словно далекая буря. Но безопасность в этой жаркой, неряшливой стране обернулась чувством одиночества, заброшенности. Флори пристрастился к чтению и стал жить в книгах, когда жизнь утомляла его. Забавы юности приедались, он вырослел и как бы поневоле учился думать своим умом.

Двадцать седьмой день рождения он отметил в больнице, с ног до головы покрытый жуткими язвами – врачи называли их грязевыми язвами, но, скорее всего, в них было повинно виски и плохое питание. После этого кожа Флори еще два года оставалась рябой. Как-то незаметно он стал выглядеть и чувствовать себя гораздо старше. Юность осталась позади. Восемь лет в Азии, лихорадка, одиночество и периодические запои не прошли бесследно.

С тех пор его год от года все больше разъедало одиночество и горечь. А горше и неотступней всего сделалась его ненависть к атмосфере империализма, в которой он жил. По мере того как мозг его развивался – мозг развивается непроизвольно, и одна из трагедий недоучек в том, что это развитие наступает у них довольно поздно, когда они уже вовсю увязли в какой-нибудь гадости, – ему открывалась истина об английском империализме. Индийская империя – это деспотия (великодушная, вне всякого сомнения, но все же деспотия), в основе которой лежит воровство. А что касалось колониальных англичан, всего этого сахибства, Флори проникся к ним, как к ближайшим соседям, такой неприязнью, что уже не мог смотреть на них непредвзято. Ведь в конечном счете эти несчастные черти были не хуже других. Жизнь у них незавидная: невелик барыш за тридцать лет скудно оплачиваемой работы в чужой стране, после которых возвращаешься на родину с убитой печенью и скрюченной в плетеных креслах спиной, чтобы прослужить на склоне лет занудой в каком-нибудь второсортном клубе. При всем при том «институт сахибства» безобразно идеализируется. Согласно общепринятому мнению, англичане, занятые на «аванпостах Империи», во всяком случае, способны и трудолюбивы. Это заблуждение. За исключением научно-технических областей – Лесного департамента, Департамента общественных работ и т. п. – нет никакой необходимости в британских представителях в Индии. Мало кто из них вкладывает в свою работу больше сил и ума, чем почтмейстер провинциального английского городка. Основную административную работу выполняют по большей части туземные служащие; что же касается основной опоры деспотии, то это не чиновники, а армия. Благодаря армии чиновники и бизнесмены, даже тупые, как пробка (и большинство из них *действительно* тупые), могут вполне надежно устраивать свои дела. Добропорядочные тупицы, лелеющие и пестующие свою тупость под защитой четверти миллиона штыков.

Жизнь в таком мире удушает, опустошает. Всякое слово и всякая мысль в таком мире подлежат цензуре. В Англии трудно даже вообразить подобную атмосферу. На родине англичане свободны: они продают свои души в общественной жизни и выкупают в жизни частной, среди друзей. Но дружба едва ли возможна, когда человек все время является винтиком в машине деспотии. Свобода слова немыслима. Все прочие виды свободы доступны. Ты свободен быть пьяницей, лодырем, трусом, сплетником, развратником; не свободен только думать своей головой. Твое мнение по любому более-менее существенному вопросу диктует тебе кодекс пакка-сахиба.

В итоге твое тайное бунтарство точит тебя, словно скрытая болезнь. Вся твоя жизнь становится пропитана ложью. Год за годом ты сидишь в зачуханных клубах, словно сошедших со страниц Киплинга, справа от тебя виски, слева журнал «Мир спорта», а полковник Дуболом разглагольствует с твоего одобрения о том, что этих паршивых националистов надо варить в масле. Ты слышишь, как твоих туземных друзей называют «грязными индюками», и покорно признаешь, что они *и есть* грязные индюки. Ты видишь, как оболтусы, только вчера ходившие в школу, раздают пинки престарелым слугам. И в какой-то момент в тебе вскипает ненависть к соотечественникам, и ты жаждешь, чтобы туземцы подняли бунт и утопили в крови эту Импе-

рию. И дело тут вовсе не в героизме или хотя бы сострадании. Ибо, *au fond*³⁷, какое тебе дело, если Индийская империя – деспотия, если индийцев притесняют и эксплуатируют? Все, что тебя волнует, это что тебе отказано в свободе слова. Ты – порождение деспотии, пакка-сахиб, связанный по рукам и ногам, словно монах или дикарь, нерушимой системой табу.

Время шло, и год за годом Флори все меньше чувствовал себя своим в кругу сахибов, все больше рисковал нажить себе врагов, когда говорил всерьез о чем бы то ни было. Поэтому он приспособился жить внутренней жизнью, скрытно, в книгах и тайных мыслях, которых нельзя было высказать. Даже в разговорах с доктором Верасвами он в некотором смысле говорил с собой; ведь доктор, добрый человек, мало что понимал из слов Флори. Когда твоя подлинная жизнь скрыта от окружающих, это разъедает душу. Жить надо по течению жизни, не против. Уж лучше быть твердолобым пакка-сахибом, из которого ничто не выжмет слезу, кроме школьного гимна «Через сорок лет», чем жить в молчании, в одиночестве, находя отдушину в тайных, стерильных мирах.

Флори никогда не ездил домой, в Англию. Почему, он затруднялся сказать, хотя вполне понимал, в чем было дело. Поначалу ему мешали непредвиденные обстоятельства. Сперва была война, а после войны его фирма испытывала такой недостаток квалифицированных специалистов, что ему не давали отпуска еще два года. Затем он наконец двинулся в путь. Ему не терпелось увидеть Англию, хотя он и боялся встречи с ней, как боишься встречи с красивой девушкой, когда растрепан и небрит. Из дома он уехал мальчишкой, подающим надежды и привлекательным, несмотря на родимое пятно; теперь же, всего десять лет спустя, он пожелтел, осунулся, пристрастился к выпивке и в целом производил впечатление человека в годах – как внешне, так и по привычкам. И все же ему не терпелось увидеть Англию. Корабль скользил по морю на запад, словно потерянная серебряная посуда, оставляя за кормой зимний пассат. Хорошая еда и морской воздух разгоняли жидкую кровь Флори. И ему подумалось – он совершенно забыл об этом в застойном бирманском воздухе, – что он еще достаточно молод, чтобы начать все сначала. Он поживет год в цивилизованном обществе, найдет какую-нибудь девушку, которая не испугается его пятна, – культурную девушку, не пакка-мемсахибу³⁸, – и женится на ней, после чего проживет с ней в Бирме еще лет пятнадцать. Затем они выйдут на пенсию – он к тому времени скопит, пожалуй, тысяч двенадцать-пятнадцать. Они купят сельский домик, окружают себя друзьями, книгами, детьми, животными. И никогда уже не потревожит их дух сахибства. Бирма, эта ужасная страна, едва не погубившая его, будет предана забвению.

В порту Коломбо Флори ждала телеграмма. Трое его коллег внезапно скончались от черноводной лихорадки. Фирма выражала сожаление, но просила его немедленно вернуться в Рангун. Ему предоставят отпуск при первой возможности.

Флори пересел на первое судно до Рангуна, проклиная свою невезучесть, и приехал поездом в штаб-квартиру. Он тогда жил не в Чаутаде, а в другом городе Верхней Бирмы. На платформе его ожидали все слуги. Совсем недавно он препоручил их *en bloc*³⁹ своему преемнику, а тот возьми да умри. Так чудно было снова видеть их знакомые лица! Каких-то десять дней назад он устремлялся в Англию и мысленно уже был там; теперь же он вернулся в опостылевшие ему места, с голыми черными кули, таскавшими багаж, и каким-то бирманцем, бранившим своих волов чуть дальше по дороге.

Слуги окружили его кольцом добрых смуглых лиц, протягивая подарки. Ко Сла – выделанную кожу, индийцы – всякие лакомства и цветочную гирлянду, Ба Пе, тогда еще мальчишка, протягивал ему белку в плетеной клетке. Воловы упряжки стояли наготове, ожидая багажа.

³⁷ По сути (*фр.*).

³⁸ Европейки, живущие в Индии.

³⁹ Целиком (*фр.*).

Когда Флори подошел к своему дому, с нелепой цветочной гирляндой на шее, окна его светились в холодных сумерках желтым теплым светом. У ворот старый индеец, похожий на чернослив, косил траву крошечным серпом. Жены повара и мали⁴⁰ сидели на пороге людской и растирали карри на каменной плите.

Что-то перевернулось в сердце Флори. Он пережил один из тех моментов, когда человеку открывается огромность и необратимость перемен, случившихся в его жизни. Он вдруг осознал, что в глубине души был рад, что вернулся. Эта страна, которую он ненавидел, стала ему родной, его домом. Он прожил здесь десять лет, и каждая частица его тела впитала бирманскую почву. Такие сцены, как эта – желтоватый вечерний свет, старый индеец, косящий траву, скрип деревянных колес, проносящиеся в небе цапли, – были ему привычнее, чем Англия. Он пустил глубокие корни, возможно глубже, чем где бы то ни было в чужой земле.

С тех пор он больше не заикался про отпуск. Отец его умер, затем и мать, а сестры, сварливые женщины с лошадиными лицами, которые ему никогда не нравились, вышли замуж и почти перестали писать ему. Его уже ничто не связывало с Европой, не считая книг, которые он читал. И он осознал, что само по себе возвращение в Англию не излечит его от одиночества; он постиг особую природу того ада, который уготован англоиндийцам. Ох уж эти горемычные старые зануды в Бате и Челтнеме! Эти похожие на склепы пансионы с англоиндийцами на всех стадиях деградации, без конца толкующими о мятеже бирманцев в Боггливале сорокалетней давности! Бедные черти, они знают, что значит оставить свое сердце в чужой стране, которую ненавидишь. У него был – он видел это ясно – только один выход. Найти кого-то, кто разделит с ним жизнь в Бирме – по-настоящему разделит, включая его внутреннюю, тайную жизнь, и вынесет из Бирмы те же воспоминания, что и он. Кого-то, кто будет любить и ненавидеть Бирму так же, как и он. Кто позволит ему жить, ничего не скрывая, ничего не оставляя под спудом. Кто поймет его: друг, вот в ком он нуждался.

⁴⁰ Садовник (хинд.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.